THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3470
.P25
Z5
1923

Digitized by the Internet Archive
in 2026 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/vospominaniia00skit

15305/04

СКИТАЛЕЦ

ВОСПОМИНАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

PETROV, Stepan G
(pseud.)
PG3470
.P25
Z5
1923

СКИТАЛЕЦ

VOSPOMINANIIA

ВОСПОМИНАНИЯ

LIBRARY
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
CHAPEL HILL

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

Гиз. № 4058. Главлит № 7906. Москва. Тир. 7000 экз.

Нотопечатня имени П. И. Чайковского Музык. Сектора Госуд. Издательства
Колпачный пер., 13.

Утро жизни.

I.

Помню темный и теплый, мягкий весенний вечер в деревне: мы—отец, мать и я только что приехали в гости к деду и бабушке, но никого не застали дома: изба была заперта на замок; все ее обитатели еще были в поле; мы сидели на заваленке и ожидали их возвращения.

Действительно, вскоре из мягкой и густой тьмы только в нескольких шагах от нас беззвучно выделилась телега, запряженная мелко трусившей лошадью с низкой отлогой дугой. Когда телега остановилась у старых ворот с покосившейся калиткой, из нее вылезла маленькая старушка с мальчиком моего возраста. Разглядев нас, она издала радостный ласковый крик удивления добрым и тихим старушечьим голосом: это были бабушка и ее младший сын Ленька, приходившийся мне дядей: кажется, это была моя первая встреча с родственниками по материнской линии.

В этой деревне, как я после узнал, у моего отца жили две замужние сестры, но он был с ними в какой-то застарелой ссоре, и поэтому я так и не увидел их никогда.

Бабушке и Ленькe суждено было сыграть в моей детской жизни выдающуюся роль: с этого времени я

2129 127

каждое лето, а иногда и зимой подолгу живал у бабушки, плохо зная, где находятся и что делают мои родители. И на этот раз они недолго погостили в деревне, уехав куда-то и оставив меня на попечении бабушки.

Бабушка и дед, вскоре тоже приехавший с поля, относились к моему отцу с большой любовью и радушием, а дед даже гордился своим городским, торговым и умственным зятем. В ближайший праздник собрались гости; все уселись за столом, на который бабушка подавала всевозможные деревенские яства, а отца посадили в передний угол.

Дед был громадный старичище с длинной седой бородищей по пояс. Вид у него был суровый и молчаливый, но на отца он не мог смотреть без самодовольной улыбки и все говорил гостям, кивая на зятя: „Поглядите-ка, какую я штуку-то себе завел!“ И смеялся. Смеялся же он, как я убедился впоследствии, очень редко.

Когда отец и мать уехали, я словно приклеился к бабушке, и с Ленькой мы составляли как бы одно существо, неразлучную пару друзей. С тех пор прошло сорок лет, мы оба стали пожилыми людьми, но и сейчас я иногда бываю у него летом в родной моей деревне, а он у меня в городе зимой. Когда я смотрю на этого большого красивого мужика с длинной окладистой бородой и добродушно-шутливой речью,—мне вспоминается маленький Ленька, и наши разговоры теперь вечно возвращаются к тому давно прошедшему времени, когда мы вместе слушали бабушкины сказки.

Бабушка оказалась интереснейшим и милейшим существом, а главное—талантливой сказочницей. Народных сказок она знала великое множество и умела рассказывать их артистически, великолепным сказочным языком, в лицах, с пением и прибаутками. Она то заставляла нас с Ленькой смеяться до слез, то плакать от жалости, то ужасаться, то радоваться чистой высокой, человечной радостью. С уверенностью могу сказать, что именно она своими сказками, кротким своим характером и всею своею незлобивою и, я сказал бы, благородной личностью внушила мне на всю жизнь любовь к поэзии, ко всему прекрасному и все те лучшие человеческие чувства, каких потом не могли вытравить ни школа, ни люди, ни жизнь.

Особенно много и задушевно рассказывала бабушка сказки нам с Ленькой в длинные зимние вечера, сидя за своею бесконечною пряжей при свете лучины, которою тогда освещались деревенские избы. Бабушка и по наружности была симпатична: маленькая, сухонькая, с красивым тонким профилем; вероятно, в молодости она была очень хороша собой. Одевалась она всегда в синий сарафан с оловянными пуговками от ворота до самого подола, а голову как-то особенно красиво и ловко обвязывала платочком.

Кроме Леньки семья деда и бабушки состояла еще из взрослого парня Яфима и девушки Насти. Яфима вскоре женили, а Настю выдали замуж. Дед считался зажиточным крестьянином, хозяйственным и скупым: детей держал в повиновении, сам работал за пятерых и от них требовал неустанной работы. Но маленьких—

Леньку и меня—любил, забавлял шутками, а когда ездил в город на базар, то привозил по большому жесткому прянику, о который можно было зубы сломать.

С Ленькой у нас шли нескончаемые игры, одним нам понятные разговоры, а также и совместные дела: как крестьянин, он уже исполнял в хозяйстве посильные работы: гонял на водопой скотину, бегал, за чем пошлют, на гумно, на огород, во время молотьбы лошадьми—стоял в кругу и прочее. Теперь же нас всюду посылали вдвоем, так как разлучать нас было невозможно: так сильно любили мы друг друга. Спали мы вместе на полатях, в обнимку, но прежде чем заснуть, долго хихикали и шептались. В сущности мы были—полная противоположность один другому: Ленька природный наследственный крестьянин, трезвый, деловой реалист, а я—типичный „некрестьянин", как меня и называла вся семья, мечтатель, фантазер и книжный человек. „Давай играть в Еруслана Лазаревича", предлагал я Леньке, на что Ленька солидно возражал: „нет, давай пахать", и выходило так, что мы играли в пашню. Ленька уже имел кое-какие хозяйственные познания, знал, как взять вилы и грабли, ездил верхом, я же во всех этих крестьянских делах обнаруживал самое постыдное невежество и неуменье. „Эх ты, прямой нехрестьянин!"—говорил Ленька, вырывая у меня грабли, которые я держал не так, как следовало, и показывал, как надо ими действовать. В этих делах был Ленькин верх, и я ему подчинялся, но зато я был грамотен и не только грамотен, но глубоко начитан, и

когда говорил „из книг“, то Ленька слушал меня, разиня рот. Кроме того, я уже был бывалым человеком, много путешествовал, видывал виды и умел-таки о них порассказать Леньке. Да, наконец, я был старше его на целый год. Я норовил командовать Ленькой и только тогда, когда особенно заносился и тыкал ему своим старшинством, Ленька спокойно и резонно напоминал мне, что он — мой дядя, а я — всего только племянник.

Эти маленькие препирательства никогда не переходили в ссору и тем более в драку: мы никогда не ссорились и жили душа в душу.

На деревенской улице к нам присоединялись для игр соседние ребятишки: два брата Степка и Лёска, жившие рядом, и Ванька Аляпа, живший через дорогу: это была наша неразлучная компания из года в год на протяжении многих лет, когда я наезжал в деревню.

Во время весенних и летних дождей против дедовой избы во всю ширину улицы образовывалась громадная дождевая лужа, почти озеро, в котором мы, раздевшись, плавали при помощи большой доски или старого корыта. Это было очень весело. Затем мы в одних рубашонках бегали по лужам вдоль улицы в перегонку: я оказался легче всех на ноги, и никто из нашей компании не мог меня обогнать. Мы делали из тростника и сухого дегтя стрелы, пули и умели пускать их высоко в небо. Но главное и капитальное наше увеселение заключалось в путешествии через лес в „Зумор“—полуостров на берегу Волги, заросший хворост-

няком: там мы вырезывали себе гибкие, прямые и длинные хворостины, „садились“ на них верхом и возвращались вскачь как бы „на лошадях“. „Зумор“ отстоял от деревни верстах в трех - четырех, и все это расстояние приходилось итти по лесным дорогам и тропинкам среди заповедного, старого леса, стоявшего нетронутым с незапамятных времен.

Деревня была на горе, а внизу около нее извивалась речонка „Постепок“, маленькая, похожая на ручей, густо заросшая около берегов осокой и пловучими лопухами кувшинок. Тут же за Постепком начинался дремучий дубовый лес, вечно шумевший своим торжественным и таинственным шумом.

Весной Волга затопляла весь лес и подходила вплоть к самой деревне, и тогда мы плавали в лесу на бударке. По праздникам весь лес наполнялся лодками с девушками и парнями в ярких нарядах и главным образом ребятишками. Слышалось пение, звуки гармоники, смех... Когда вода сбывала, в лесу оставались озера и маленькие болотца, в которых оставалось много подросшей мелкой рыбешки — щурят. Мы мутили ногами воду, щурята высовывали головы из воды, за которые мы и хватали их прямо руками. Раков в озерах и Постепке было такое изобилие, что мы их тоже ловили руками, залезая к ним в норы, а если бродили бреднем, то вытаскивали их целые сотни: полный бредень. Мы разводили на бережку огонек и варили раков или уху в приготовленном котелке. После половодья в лесу и на лесных полянах быстро появлялась буйная растительность: трава выростала по-пояс,

было много дикого луку, столбенцов, щавелю и ароматных ландышей. Девки и бабы толпами ходили за луком, щавелем, цветами и возвращались домой с хоровыми песнями. А в лесу неумолкая куковала кукушка, орали грачи и щебетало разнообразнейшее птичье царство.

Целый день мы бегали в лесу, раз по двадцати купаясь в большом прозрачном озере, которое называлось за эту необыкновенную прозрачность „Ситцевым“. Опускаясь на песчаное дно его, мы открывали глаза и ясно видели там друг друга. Возвращаясь в деревню, опять не упускали случая искупаться в Постепке, на „мысу“, излюбленном всею деревней месте для купанья. Тут постоянно купались женщины и дети.

Чаще всех в лесу и на мысу нам встречалась девушка Груня, первая красавица не только на всю деревню, но и на всю округу. Она была из самой богатой семьи, верховодила подругами, надменно обращалась с парнями. Язык у нее был как бритва, характер веселый и наружность замечательно красивая: она была смуглая, цыганского типа, с волосами черными как смоль и орлиным взглядом прекрасных глаз с длинными ресницами. Купаясь, она шутила с нами, доставала для нас с глубокого дна ракушки и после купанья украшала свои мокрые, черные как уголь и замечательно длинные волосы водяными лилиями. Было в ней что-то дикое и поэтическое, вольное и самостоятельное. Мы все любили ее за ракушки и разные мелкие знаки внимания, каких не получали от других девиц. Уважали мы ее и за всегдашнее первенство, принадлежав-

шее ей в весенних хороводах: она была запевалой в хоре, заводила игры, и никто лучше ее не мог станцовать, ни срезать острым насмешливым словечком какого-нибудь зазнавшегося парня.

Но на меня сильнее всего действовала ее поэтическая наружность: смотреть на нее доставляло мне какое-то эстетическое высокое наслаждение и когда по праздникам на заросшей зеленой муравой улице собирался многолюдный хоровод, а ее еще не было—я скучал, и мне казалось, что солнце не светит и не греет, но лишь стоило появиться ей, как весь мир в моих глазах освещался ликующим светом, словно солнце появлялось и освещало всех: становилось весело, интересно, радостно. Где бы она ни прошла, где ни стала, где бы ни сидела—я всегда оказывался невдалеке от нее и, как маленький Азра, бледнея от непонятного мне волнения, с бурно бьющимся сердцем, не спуская с нее восхищенных глаз, молча и неподвижно смотрел на нее часами. Разговаривать с нею я не мог: когда она со мной заговаривала, сердце мое готово было разорваться от счастья, мое лицо, уши и шея становились пунцовыми, и из глаз от смущения готовы были брызнуть слезы, но слова замирали в моем сердце. Хоровод чему-то смеялся, а лукавую красавицу мое странное смущение забавляло и, наконец, заинтересовало: вероятно, своим женским чутьем она раньше угадала мое необычайное состояние: я был влюблен.

Мне было тогда всего шесть или семь лет, ей—двадцать, но, вспоминая потом в течение всей моей жизни этот странный случай и сравнивая его с позд-

нейшими чувствами в юношеском и более зрелом возрасте, я убедился, что моя первая любовь, настоящая поэтическая любовь, пришла ко мне в шестилетнем возрасте и объектом ее была взрослая двадцатилетняя красавица.

Боясь сделаться предметом насмешек, я стал избегать встреч и разговоров с нею и смотрел на нее издали, в стороне от всех: вероятно, фигура моя в это время была очень печальна. Однажды, когда Груня стояла в хороводе на середине улицы, а я, отделившись от толпы, одиноко стоял, прислонившись к воротам дедовой избы и попрежнему, не сводя глаз, смотрел на нее, она резко оторвалась от хоровода и направилась ко мне своею удивительно легкой, словно воздушной, походкой. Мне показалось, что весь хоровод остановился, замолк и смотрит на нас с ней. А она подошла ко мне и с лукавой улыбкой, едва сдерживая готовый брызнуть серебристый смех свой, протянула мне—удочку! да! маленькую, стальную, острую удочку!

Я принял подарок, но вспыхнул так, что весь хоровод, следивший за этой сценой, раскатился хохотом. Слезы брызнули у меня из глаз, и я убежал: я понял, что и „она“ смеется надо мною: удочка! ведь это же насмешка!

Вскоре ее выдали замуж, и я вместе со всеми ребятами нашего околотка был на ее свадьбе в качестве посторонняго зрителя. Теперь она уже забыла обо мне и даже не заметила меня в толпе, а я и тут страдал, мучительно ревнуя ее к жениху.

В деревне я тогда прожил безвыездно, вероятно, око-

ло года. Хотя я очень любил бабушку и Леньку, и вся семья относилась ко мне очень хорошо, тем не менее, никогда не забывал, что все-таки живу без отца и матери, я очень тосковал о них, но об этом никто не знал и даже не догадывался, так как я никому, даже Леньке, об этом не говорил, а в общем деревенская жизнь мне нравилась больше городской.

Наконец как-то приехали отец и мать с недавно родившейся у них маленькой моею сестренкой. Не успел я привыкнуть к ней, как отец собрался на Нижегородскую ярмарку в качестве музыканта и решил взять меня с собой, а мать и девчонку оставить в деревне. Так и сделали. Мы с отцом уехали в Нижний и целых два года были трактирными музыкантами. Из Нижнего мы переехали в другой приволжской город и здесь играли в большом ресторане около театра, где постоянно бывали актеры, а после представления каждый вечер собиралась публика из театра. Здесь, лет восьми от роду, я окунулся в закулисно-театральный мир.

II.

Ресторан назывался „Александровским вокзалом“ и в то время считался лучшим в городе: это было большое, двухъэтажное деревянное здание с длинной крытой террасой вокруг верхнего этажа. Буфет и зал ресторана находились в нижнем этаже, а наверху кабинеты и тайная игорная комната, где происходила азартная карточная игра. „Вокзал“ окружал довольно

большой сад из акаций с правильными дорожками, усыпанными песком, в котором днем играли дети, но не такие, как я, а „барчата“, с боннами и няньками, в затейливых вычурных костюмчиках. На их игры я мог смотреть только издали.

Впрочем, отец скоро определил меня в городскую школу и опять начались мои школьные муки. До обеда я был занят пребыванием в школе, а вечером часов с девяти и до двух пополуночи находился при отце, участвуя в его музыкальных выступлениях.

Школа была так переполнена учениками, что негде было сидеть, нечем дышать. Вместо парты меня примостили у подоконника. Я попрежнему почти совсем не умел писать и был на особом положении: читая лучше „старших“, я сидел в самом младшем классе, да и там должен был заниматься только чистописанием, которое мне очень скоро опротивело, да и писать на подоконнике в тесноте было неудобно. Правда, порядки здесь оказались лучше, чем в уездной школе, где я учился прежде, учитель был молодой, учеников не бил и не сек, но все-таки я ничего не понимал, что в ней говорилось, писал крючки да палочки и чувствовал себя отщепенцем и самым плохим учеником. Из товарищей по школе я ни с кем не сблизился: это были все сорванцы, толковавшие о кулачных боях, о приемах кулачного боя, об игре в свайку, о голубях... Все это было чуждо мне: в мечтах моих стояла родная деревня с ее красивой природой, займище, „Зумор“, деревенские хороводы и вся ее мирная, патриархальная жизнь: милый Ленька и деревенские ребятишки, которые ни-

когда не дрались, поэтическая Груня с водяными лилиями в волосах и кроткая бабушка с певучими, нежно-печальными сказками „о братце Иванушке и сестрице Аленушке“...

Я и здесь ежедневно выпрашивал у отца пятак на лубочную сказку и голова моя была полна рыцарских приключений и волшебных превращений. Постоянно рисовал на клочке бумаги рыцарей в панцырях и шлемах с опущенным забралом. С товарищами по школе разговаривал неохотно, в играх и драках не участвовал и казался им „снулым“, „дурачком“ и „девчонкой“, да и сам подозревал, не правы ли они, не дурачок ли я и в самом деле, когда при общем смехе всего класса учитель за мое „чистописание“ неизменно влеплял мне в тетрадь обидную единицу с надписью красными чернилами: „скверно!“

А вечером в ресторане было не лучше, чем днем в школе. С девяти часов ресторан наполнялся публикой и отец заставлял меня петь песни под гусли, на которых он играл: голосок у меня был нежный и звонкий, но мне не нравилось петь перед чужими людьми, которые и слушали-то плохо, занимаясь разговорами за едой, и только обещание „пятака на книжку“ подавляло мою застенчивость; я пел. После театра в ресторане становилось тесно и шумно. За всеми столами ужинали, пили водку, вино и пиво. Наконец появлялись бритые физиономии актеров. Я еще ни разу в жизни не был в театре. Но вот однажды на Рождество в ресторан пришла толпа людей в шлемах и кольчугах с деревянными мечами и щитами, выкрашенными под же-

лезо, и стала представлять на эстраде шайку разбойников: я был в восторге, спрашивал отца, что это значит? Он объяснил, что это праздничные трактирные комедианты, то же, что в театре, и отец попросил одного бритого господина, чтобы меня пропустили за кулисы.

— А вот когда нужно будет ребятишек на сцену, тогда мы его даже на сцену выпустим, если хотите!— отвечал актер.

Вскоре меня действительно позвали в театр вместе с поваренком и некоторыми лакеями ресторана участвовать статистами в какой-то пьесе, и я попал за кулисы. Там была теснота, суета, шум и ругань. Нас одели в какие-то странные костюмы и вымазали лица краской посредством заячьей лапки. Потом выпустили на сцену: мы были в тереме, в гостях у боярыни в нарядном сарафане и высоком кокошнике. Потом пришли бояре, пили из пустых деревянных вызолоченных стаканов, пели хором, полосатый шут в желтом колпаке играл на балалайке и очень всех нас смешил. А прямо против сцены была громадная черная яма, наполненная публикой, которая громко смеялась над шутом, а боярам хлопала в ладоши. Я был очень сконфужен, чувствуя себя неловко перед таким громадным стечением людей, сердце мое колотилось от волнения и страха и, когда мы уходили со сцены, я забыл там на полу, где сидел, свою шапку, хотел было воротиться за ней, но боярыня бросила мне ее за кулисы, громко сказав: „возьмите шапку!“

С этого времени, как профессиональный актер, я получил право входа за кулисы и сделался своим че-

ловеком. Меня знали все актеры и актрисы как по театру, так и по ресторану, где я был певцом-солистом. Знали они все и моего отца, музыкой которого очень интересовались, а с ним любили разговаривать. Поэтому за кулисами меня выделяли из толпы остальных маленьких статистов и обращались ласково. Только однажды в уборной одной старой актрисы, куда я был позван за каким-то делом, я, увидав складной бутафорский кинжал, начал им стучать, стучал долго, и только что хотел кончить стук, как актриса строго мне сказала: „Вот, не скажи тебе, так и будешь стучать без конца!“

На сцену меня выпускали довольно часто, я участвовал на процессиях, играл чертей, пажей, ангелов, гостей и уличных ребятишек. Выходить на сцену мне не особенно нравилось, зато я любил смотреть из-за кулис происходящее на сцене... „Король Лир“ заставлял меня плакать, а от Марии Стюарт и Страшного Ричарда Третьего кровь застывала в моих жилах. От веселых пьес я хохотал до слез. Театр сделался моей второй страстью после чтения, и я уже мечтал совсем отдаться сцене на всю жизнь, когда отец мой опять переменил профессию: он решил оставить музыкальный промысел, так как „доходы“, на которые он рассчитывал, кроме жалованья, не оправдали его надежд.

В антрактах своей музыки он посылал меня обходить трактирную публику с тарелкой, но публика, охотно слушая музыку, на тарелку клала самую ничтожную мелочь. Из всей ресторанной челяди был у отца только один приятель, это — ресторанный повар.

Повар, в бумажном колпаке и переднике, толстый и старый, с седыми, свешенными вниз усами, был очень часто под хмельком, но считался таким великим мастером своего дела, что его уважал даже сам хозяин ресторана. Будучи дружен с моим отцом, повар всегда ласкал меня и, когда я забегал в кухню, давал мне что-нибудь сладкое. В особенности добр он был под хмельком и тогда тихонько напевал тоненьким голосом одну и ту же любимую свою песню о Маше, которая „коров доила, подоивши, процеживала, процедивши, душу-Ваню поила, напивши, приговаривала:

„Не женися, душа-Ванюшка,
Если женишься—переменишься!“

Заслышав эту песню, я бежал в кухню, ибо это значило, что повар в чувствительном настроении, будет меня гладить по голове и подсунет блюдечко с „когельмогелем“ или пирожным. На прощанье, когда мы уже „получили расчет“, повар „от себя“ угостил нас насквозь просахаренным и обжаренным цельным картофелем—высший фокус поварского художества.

Отец поступил мастером в столярную мастерскую, из деревни приехала мать с подросшей сестренкой и мы переехали из ресторанной комнатки, где жили, когда были музыкантами, на вольную квартиру: тоже сняли комнату поблизости от мастерской.

Я попрежнему продолжал ходить в школу, а после школы относил обед отцу в мастерскую: домой он приходил только к вечеру и даже работал по праздникам за отдельную плату.

Столярная мастерская представляла из себя одну громадную, похожую на сарай, комнату, где стояло десятка три столярных верстаков, за которыми работали столяры: за одним из верстаков работал отец. Принеся обед, я дожидался, пока он поест, а потом отец некоторое время позволял мне побыть в мастерской, так как я любил смотреть на работы: свист фуганков, визг пил, стук топоров, долот и стамесок очень интересовал меня. Запах свежих стружек, клею и лаку тоже очень нравился, да и столяры обращались со мной шутливо, требуя только, чтобы я не баловался и ничего не трогал. Но я был солиден и очень серьезен: по моей просьбе отец сделал мне деревянный меч, щит и склеил из сахарной бумаги рыцарский шлем, украшенный стружками вместо перьев. Кроме того, из старого изломанного ведра с отсутствующим дном я сделал себе панцырь и важно расхаживал по мастерской в этом воинственном наряде. Голова моя была полна бреднями волшебных рыцарских сказок, которые я по-прежнему поглощал в большом количестве, и рабочие добродушно посмеивались надо мной.

Однажды, в воскресенье, принеся обед, я еще в окно увидал отца в очень странном головном уборе: вокруг его головы наподобие чалмы было обмотано окровавленное полотенце, но он, как ни в чем не бывало, продолжал работать за своим верстаком.

По воскресеньям, кроме моего отца, никто не работал: в мастерской было только несколько случайно зашедших рабочих и сторож мастерской. Когда я вошел, то застал этих людей взволнованными только что про-

исшедшим событием: на моего отца было нападение. Выяснилось, что часть столяров, любивших проводить праздники в кабаке, была очень недовольна им за то, что он чуждается их компании, не пьет с ними, а вместо этого работает: им казалось, что его нужно наказать за такое отчуждение и один из них, после пьянства в кабаке, вызвался сейчас же расправиться с „непьющим“ и „зазнающимся“ товарищем: он явился в мастерскую пьяный, стал придираться к отцу и вдруг неожиданно ударил его по голове увесистым железным молотком: удар был настолько силен, что у отца хлынула кровь, но не настолько верен, чтобы размозжить голову: отец, в момент удара, строгая длинным и тяжелым фуганком, инстинктивно откачнулся, а сам легонько „тюкнул“ фуганком плашмя по голове нападавшего. Тот брыкнул ногами и упал замертво: отец испугался—не убил ли? но неудачника отлили водой и увезли в больницу. Только через месяц вышел он из больницы без левого глаза, который ушел у него под лоб; и очень весело и совершенно беззлобно при мне благодарил отца „за науку“, в шутку называя его „крестным отцом“. Меня удивило, что этот жестокий случай обсуждался потом всей мастерской в самой шутливой форме, а оба подравшиеся не только не стали судиться, а даже дружелюбно разговаривали: общее сочувствие было на стороне отца, а изувеченный сделался предметом иронических шуток. Тем не менее, среда столяров этой мастерской не понравилась отцу: слишком было много пьяниц и отпетых, темных личностей. Вскоре он перешел на большой завод „к нем-

цу", где дисциплина была строгая, платили дороже, но зато заставляли работать с такою жестокою требовательностью и так донимали штрафами, что отец стал подумывать о своей собственной мастерской в деревне. Эта мечта его скоро сбылась. Отъезд в деревню ускорил колоссальный пожар, от которого выгорел почти весь город. Сгорел и завод. Десятки тысяч беднейших погорельцев после пожара остались без крова, средств и работы. Им выдавали из казны пособие по десяти рублей на человека. Получив пособие, мы уехали опять в то село, где началась моя жизнь.

III.

Была сухая, ведренная осень, когда мы приехали в большое, богатое село. В безоблачном, прозрачном небе носились тенета. Стояли солнечные дни. По утрам бывали такие славные, освежающие заморозки, от которых грязь на улице затвердевала, как каменная. Справлялись свадьбы, и по улице часто торжественно шли, выстроившись в ряд, разряженные девки с протяжным и звонким пением старинных свадебных песен. Наряды на девках были вроде тех, которые я прежде видел на бабушке и в театре на боярынях: яркие сарафаны, короткие душегрейки со сборками и пуговками сзади, кокошники полумесяцем. Невесту в церковь везли под красной фатой. Мужики по праздникам гурьбой шли в церковь и все в этом случае были в суконных длинных кафтанах и всегда в высоких шляпах гречневи-

ком, каких теперь давно уже не носят. Каждое утро по улице бежали деревенские школьники с книжками в мешочках через плечо—в школу.

Мы сняли у знакомого мужика переднюю половину его избы и едва устроились, как отец повел меня в школу.

Школьное здание здесь было большое, деревянное, с железной крышей, с большими окнами, в два этажа и находилось около церкви, рядом с волостным правлением.

Когда мы с отцом вошли в школу, там все сидели за партами и учились. Меня удивило, что все сельские ученики были с длинными волосами „вкружало“, тогда как меня всегда стригли „наголо“. Моя стриженая голова в свою очередь показалась школьникам странной и смешной; они пересмеивались и шептались между собой на этот счет, пока мой отец разговаривал с учителем. Одеты они все были в дубленые полушубки или в суконные и казинетовые кафтаны, а на мой городской костюм тоже посматривали насмешливо. Под их критическими взглядами я чувствовал себя неловко.

Наконец учитель раскрыл книгу и предложил мне прочесть вслух длинное стихотворение, заглавие которого было: „Жена ямщика“. По счастливой или несчастной случайности это стихотворение не раз прежде читал при мне вслух мой отец, любивший хорошие стихи, а читал он очень хорошо, с чувством и соблюдением интонации. Я прочитал эти стихи, подражая его чтению. Когда я, изображая испуг жены ямщика, вскрикнул громко:

„А мой муж!? вскричала
Ямщика жена
И белее снега
Сделалась она“.

Весь класс разразился хохотом, таким странным показалось им мое чтение. Учитель нахмурился и пристыдил своих учеников.

— Напрасно смеетесь!..—сказал учитель:— он читает прекрасно!.. вот так и вы читайте, как он читает, с выражением, а вы все стараетесь читать монотонно, как дьячок в церкви! Над вами бы нужно ему смеяться, а не вам над ним!

Ученики притихли, но вряд ли ему поверили, потому что когда ушел мой отец и наступила „перемена“, все опять начали хохотать надо мной, передразнивая мое чтение.

Весть о забавно читающем новом ученике проникла с быстротою молнии во все другие, более старшие классы, и меня стали дразнить довольно большие ученики, почти взрослые парни. Наружность моя также не понравилась им, в особенности стриженая голова: находили, что я держу ее на бок и что шея у меня слишком длинная.

— Голову-то на бок держит!

— Поправьте ему!

Начались щелчки в голову, щипки и толчки, а один большой парень схватил меня за голову, чтобы „поправить“ ее. Тогда и я схватил попавшуюся мне под руку линейку и ткнул ему прямо в зубы. У него показалась кровь, и большой ученик сконфузился. Все занялись им, а меня стали остерегаться. Наконец позвонили в школьный колокол: ребята разбежались по местам.

Так начался мой первый день учения в сельской школе. Мне было тогда девять лет.

Против моего ожидания, ученье здесь пошло у меня почему-то очень хорошо: вероятно, вследствие огромного числа прочитанных, хотя и плохих, книг, а также благодаря разнообразным переживаниям моей жизни и постоянному обществу отца я оказался развитее всех моих сверстников и опережал их в быстроте соображения. Скоро я сделался выдающимся учеником в своем классе, и учитель при посещении училищного начальства и других посторонних лиц с гордостью похвалялся мной.

Но товарищи долго еще не могли примириться с моей наружностью и городским костюмом, ставя мне всевозможные испытания. Хорошие успехи в ученьи они мало ценили друг в друге: на первом плане стояла физическая сила, искусство в кулачной драке и мужество в перенесении боли. „Плакс“ и здесь презирали. Отравленный сладким ядом успеха, я решился и в этой области превзойти их. Кулачный бой являлся любимым спортом не только во время школьных „перемен“, но и вне школы, по вечерам. Зимой, едва только начинало смеркаться, как на площади около торговых лавок, служившей как бы границей между двумя „концами“ громадного, тысяч в семь жителей, села, сходились ребятишки и, похлопывая в кожаные сыромятные рукавицы, громко и протяжно кричали: „давай, давай, дава-ай!“

На этот боевой клич с обоих „концов“ стягивались маленькие бойцы и начиналась рукопашная, стена на стену. Впереди каждой „стены“ обыкновенно выступал предводитель—испытанный, знаменитый боец, и схва-

тывался с достойным соперником, а за ним бились и остальные, то отступая, то напирая на противников в зависимости от поединка главачей и от прибытия к той или другой стороне свежих сил. Существовали особые правила боя: не допускалось бить „по рылам“, а только „по бокам“, считался незаконным удар „с крыла“ и т. д.

С наступлением темноты, когда приходили подростки и взрослые парни, бой разрастался серьезнее. Маленькие выходили из боя, уступая место большим.

Наконец собирались взрослые, бородатые мужики и даже пожилые бойцы с бородами по пояс. Начиналась настоящая серьезная битва, когда с той и другой стороны скоплялись сотни бойцов в дубленых полушубках, в длинных боевых рукавицах, а в заглавной паре схватывались известные на все село силачи, обладавшие выдающейся, почти богатырской силой, люди, ломавшие в руках подковы и сгибавшие в пальцах медные монеты. Мы, дети, конечно, могли быть только зрителями этого страшного древне-русского боя, когда от удара кулаком взрослые, сильные люди кубарем падали с ног вниз головой, от могучих ударов раздавалось на всю улицу эхо, а над всем селом стоял гул от криков сражающихся. Бой продолжался чуть не до полуночи, иногда за полночь, и боевой азарт иногда разгорался до того, что приезжал урядник верхом на коне и старался при помощи слов и действий утушить разыгравшиеся страсти. Смертельных случаев во время этих боев я не помню, но увечья были, и многие из рьяных бойцов впоследствии хирели и кончали чахоткой. Понятно, что эти грубые, дикие нравы и жестокие забавы с культом

физической силы, богатырства и молодечества, оказывали на детей более сильное влияние, чем краткий курс школьной премудрости. Село это и в прошлом принадлежало к разряду так называвшихся „государственных крестьян“, никогда не знало крепостного права, мужики исстари, не в пример всей округе, жили богато, и дух своеволия был тогда еще силен в них, урядники и попы не имели политических инструкций, да в этом и надобности не чувствовалось: вся масса его населения могла бы теперь называться сплошь „черносотенной“, жили в какой-то древней, окаменелой косности, с глубокой ненавистью ко всяким новшествам, ко всему городскому, господскому и „светскому“. Религиозность была темная, обрядовая, а половина села состояла из раскольников-старообрядцев, которая даже к своим, „церковным“, „мирским“ односельчанам относилась с каким-то мрачным отчуждением, считая за великий грех есть и пить с ними из одной чашки: у них был обычай в случае вынужденного общения с „мирскими“ брать с собою свою чашку и ложку. „Мирские“, в свою очередь, мало чем отличались от раскольников, вследствие смешанных браков часто переходя из православия в раскольничество и обратно, да и православие их было такое же косное, обрядовое и ненавистническое, как и раскольничество. Сами же по себе „православные“ были хуже, распущеннее и диче раскольников и уж во всяком случае темнее, невежественнее, да и бедовее. К „чужакам“, к „спинжакам“ и ко всему „не своинему“, что иногда входило в жизнь села, но всегда отталкивалось, относились почти с религиозной нетер-

пимостью, и я только впоследствии понял, что в глазах сельских школьников, из которых половина была официальные раскольники, а остальные неофициальные, а также и в глазах их родителей, я, остриженный наголо и в поганом „нерусском“ платье, был не только гнусным „мирским никонианцем“, но почти „басурманином“. Ко мне относились хуже, чем если б я был евреем, и мне пришлось получить много тумаков, синяков и ссадин раньше, чем я научился у них же кулачному искусству, чтобы давать сдачи особенно религиозным. Друзей в деревенских школьниках я так и не нашел: напротив—меня травили и преследовали за то, что я не похож был на них, что я учился лучше их, что явился откуда-то из враждебного им мира, что я—„чужой“ и, как им казалось, „некрестьянин“. Еще в школе туда-сюда, еще одноклассники мои в конце концов убедились, что я такой же человек, как и они, что я даже не дурак и что на удар могу ответить не менее искусным ударом, но на улице внешкольные ребята буквально не давали мне проходу, сопровождая градом камней, комьев грязи и выкрикивая вслед обидные произвища, из которых я мог понять, что они находят во мне сходство с местным дурачком, идиотом, сумасшедшим, бродившим по селу.

Никогда еще до этого времени я не имел причины так обозлиться на людей, как в эти первые мои школьные годы. Я приходил в отчаяние от этих незаслуженных оскорблений; лишенный таким нелепым образом детских игр и общества детей, я чувствовал себя затравленным и одиноким. Забившись куда-нибудь в уединен-

ное место, где меня никто не мог увидеть, я проклинал и плакал и жаловался богу и просил его, чтобы я никогда не забыл и не простил этих обид, которые мне наносят, я давал клятвы самому себе, что, когда вырасту большой, то непременно отыщу всех этих теперешних моих обидчиков и всем отомщу, всем, всем им отомщу! И в этих мечтах о грядущем возмездии моем я испытывал своеобразное, злорадное наслаждение и находил утоление наболевшему сердцу. Я стал бояться сверстников. Завидя толпу ребят, обходил их стороной, а когда они гнались за мной—спасался бегством и только настигнутый, дрался бешено, отчаянно, как затравленный волченок: я кусался, царапался, пинался, лягался, и, мне казалось, способен был задушить кого-нибудь из моих преследователей до смерти. Это ненормальное отношение ко мне маленьких крестьян, считающих меня не только „некрестьянином“, хотя я им был всегда, но прямо каким-то „нехристем“, создало для меня раннее и печальное одиночество. И опять, как прежде, единственным моим утешением, единственным обществом и отрадой в жизни сделались книги. Учитель выдавал книги для чтения из школьной библотеки только по субботам, но для меня это было каплей в море: я добился того, что меня допустили к библиотеке, она оказалась очень скудной и скоро я всю ее перечитал. Я всюду выискивал, разыскивал и вынюхивал, где бы достать книг для чтения. При церкви оказалась церковная библиотека: я упросил попа допустить меня к чтению церковных книг. Поп подивился, но желание мое одобрил, и каких только странных

книг не перечитал я в этой библиотеке, напечатанных чуть не двести лет тому назад странным шрифтом на странной толстой и грубой бумаге!

Наконец, когда я уже кончал школу (курс ее был четырехгодичный), мне было лет двенадцать-тринадцать, при школе возникла общественная библиотека: кто-то пожертвовал сколько-то денег на эту библиотеку, а выписать книги поручили учителю: учитель выписал почти всех первоклассных русских писателей, начиная с Жуковского, а также с Шекспира и Байрона: при выборе книг он, по собственному признанию, имел в виду, что эти книги, будут читать не мужики, а „сельская интеллигенция". Но прежде всех всю эту библиотеку прочитал я. Отец мой, хотя и сочувствовал этой любви моей к чтению, а когда увидал у меня сочинения Пушкина, Лермонтова, Никитина, Тургенева, Островского, Гончарова и даже Шекспира,—сам начал читать их, но, видя, что я читаю ночи напролет до утра со свечкой, завесившись занавеской на печке, стал запрещать мне такое неумеренное чтение из боязни пожара, а также опасаясь, как бы я не „зачитался". Но я обманывал его, зажигал огонь, когда все дома спали, и продолжал читать. Быстрота, с которой я прочитывал большие, толстые книги, показалась подозрительной и невероятной учителю, и он иногда, принимая обратно книгу, экзаменовал меня, действительно ли я ее читал, не морочу ли его по какой-нибудь посторонней причине; но когда я с увлечением начинал рассказывать содержание прочитанного, он убеждался, что книга прочитана мною в одну ночь.

Это бурное, ненасытное чтение, захватив всего меня целиком, совершенно отдалило меня от моих школьных сверстников, из которых никто ничего по своей охоте не читал.

Единственным моим другом опять оказался мой дядя Ленька, снова появившийся на моем горизонте: через год после нашего приезда в село, дед поселил его у моего отца и отдал в школу, так как в деревне школы не было, а село, где мы жили, находилось только в шестнадцати верстах от нашей родной деревни. Ленька учился классом ниже меня; в увлечении моем чтением участия не принимал, но я любил его за милый, покладистый, рассудительный характер; кроме того, нас соединяла любовь к нашей деревне и вольной деревенской жизни: каждое лето мы вместе по окончании ученья уезжали к нему и крестьянствовали всласть. Бабушки в это время уже не было в живых: она внезапно умерла от сибирской язвы.

Школу я кончил, чрезвычайно отличившись на экзамене. На этот „выпускной“ экзамен приехал инспектор народных училищ, и дикие мои одноклассники были, сами не зная почему, страшно напуганы его присутствием и необычайной обстановкой экзамена: так как инспектор торопился ехать дальше, то экзамен пришлось сделать вечером и он продолжался при лампах до глубокой ночи. Присутствовать на экзамене были допущены и те из родителей, которые этого пожелали, поэтому пришел и мой отец, очень волновавшийся за меня. Но я доставил ему громадную радость: я отвечал лучше всех, при чем обнаружил находчивость и

быструю сообразительность, так что инспектор очень заинтересовался мной. После трудного и длинного экзамена он обратился к ученикам с речью, в которой заявил, что все они экзамен выдержали и получат свидетельства, но я—тут он назвал мою фамилию—один из всех получу похвальный лист. Радости моего отца не было границ: он никак не ожидал, что я так отличусь. Когда мы с ним возвращались ночью домой из школы, он был как пьяный от восторга и долго потом с восхищением рассказывал своим друзьям, как я отвечал на экзамене. На другой день он купил мне на целый рубль орехов и других лакомств, и я целый день чувствовал себя именинником.

Однако образование мое он считал законченным и заявил мне, что с осени поставит меня за верстак и я должен буду обучаться столярному ремеслу. Отец сам сделал мне уменьшенного размера верстачок и необходимые инструменты, мать сшила холщевый фартук, и я стал работать рядом с отцом. В это время отец уже имел свою собственную маленькую избушку на краю села с пристроенною им самим мастерской. Заказов он имел так много, что не успевал выполнять их один, нанимал иногда подмастерьев, но попадались все неумелые лентяи, от которых толку было мало, и отец рассчитывал, что года через два-три из меня получится в помощь семье хороший столяр. А семья все возрастала: кроме сестры, был еще маленький брат, а впоследствии появилась еще сестренка и еще несколько братьев.

Мне все еще хотелось продолжать чтение книг, и

поэтому столярная работа была мне не по душе, но она заметно укрепила мое здоровье: у меня стали развиваться мускулы, а в огрубевших мозолистых руках появилась сила. Летние экскурсии в деревню и крестьянские работы на чистом воздухе, жизнь целыми месяцами в степи, с ночевками в шалаше, работа косой, цепом и граблями, езда верхом,—все это закалило мою и без того от природы крепкую натуру, а впоследствии помогло благополучно вынести долгие годы городского недоедания, голодания, переутомления и всяких мытарств.

Но вот однажды, когда мы с отцом взапуски работали рубанками, выпуская длинные, мягкие стружки, в мастерскую вошел учитель. Разговор, который произошел у него с отцом, всецело касался меня.

Оказалось, что в нашем селе через год предполагалось открытие двухклассного училища. Учитель рассказал, что вопрос этот решался на земском собрании, где известный уже нам инспектор народных училищ говорил речь в пользу двухклассных училищ и в доказательство желательности таких училищ указывал, что в среде крестьянских мальчиков бывают иногда очень способные мальчики, которых жаль оставить без продолжения образования: в виде примера он рассказал про меня, назвал мое имя и фамилию. По мнению инспектора, мне нужно было продолжать образование. Учитель был того же мнения и пришел предложить отцу добрый совет: отдать меня в двухклассное училище, благо оно открывается в нашем селе, откуда, проучившись всего только два года, можно посту-

пить в учительскую семинарию на казенную стипендию.

Мысль учителя очень понравилась моему отцу, а самолюбию его польстило, что обо мне говорят речи на земском собрании. С двух слов они решили мою судьбу. Я же, слушая их, чувствовал себя на седьмом небе.

Тем не менее, в этом свободном году я все-таки должен был изучать столярное ремесло.

— Там, что будет ли, нет ли,—говорил отец,—а ремесло не коромысло, за плечами не виснет.

Как бы в награду за мои учебные успехи и в надежде на будущее, отец, как только наступило лето, отпустил меня в деревню, к другу моему Леньке, который еще с ранней весны крестьянствовал, поджидая меня.

IV.

В то время мужики нашей деревни вели полевое хозяйство не совсем так, как это делалось в других местах: своей земли „на своем“ поле у них было мало и она, никогда не удобряемая, выпаханная, родила плохо. Но зато они ежегодно снимали землю на громадном казенном участке, находившемся в долгосрочной аренде у богатого мужика; благодаря этому участку богатый мужик разбогател еще более и впоследствии вышел в купцы.

Участок находился далеко от деревни, верстах в тридцати-сорока, в степи, и вот там-то и происходили все наши полевые работы: там были и покос, и пашня, и жнитво, и молотьба. В деревню возвращались только на праздники, а все лето жили всей деревней в степи, в шалашах и палатках, каждая семья на своем участке, дома же оставались только женщины, да маленькие дети. Так как земли снимали помногу, то на покос и уборку хлебов каждый мужик нанимал в ближайшем уездном городе, находившемся за Волгой, десятки косцов, жнецов или жней, приходивших с юга на заработки в наши края. Степь на необозримое пространство оживлялась становищами косцов или жнецов, пестрела разноцветными рубахами и платками, наполнялась голосами людей, ржанием лошадей, а в сумерки, когда кончались работы, над всей степью словно исполинские струны звучали, и кто-то громадный и невидимый бряцал на них торжественную песнь,—это косцы по всей степи отбивали молотками свои притупившиеся за день стальные косы. Воздух был так чист, прозрачен и чуток, что за версту слышен был чей-нибудь разговор или бог весть из какой дали доносилась заунывная, тягучая песня одинокого певца или певицы, а могучие рокочущие струны все еще звучали над сонной степью.

Наконец все затихало, и только яркие костры там и сям разгорались над зеленым степным океаном, каждое становище готовило себе ужин, полевую кашу. Разводили костер и мы. Когда каша была готова, все, помолясь на восток, садились вокруг котла с деревян-

ными ложками в руках около медленно потухающего костра... Вкусна была полевая каша после длинного летнего трудового дня!.. Потом все ложились в шалаше или под пологом на низеньких колышках: на открытом воздухе спать было немыслимо—комары съедят, мириады этих зверей наполняли ночной воздух степи, и весь он всю ночь звенел тонким комариным звоном...

Но едва потухала вечерняя заря, как с ней сходилась заря утренняя, и бессонный дед безжалостно поднимал нас на работу. Нам с Ленькой вследствие нашего малолетства давали косить отдельную делянку, и мы косили ее только двое. Ленька косил хорошо, а я сначала не умел, но скоро научился. Труднее и опаснее всего было научиться точить косу бруском: мы оба часто порезывали руки.

Когда сено в рядах за день высыхало под палящими лучами солнца — мы сгребали его граблями в кучки, потом эти кучки складывались в копешки, после чего уже сметывался стог. Это была приятная и веселая работа для нас с Ленькой, копешку закрепляли веревкой, привязанной концами к хомуту лошади, а на лошадях сидели верхом мы с Ленькой и управляли ими, лошадь везла копешку к начинавшемуся стогу, где сено подавали вилами, а принимал его наверху обыкновенно дед, потому что для этого требовалась опытность, чтобы стог не вышел криво и не развалился. Уминать сено на стогу также заставляли нас, и мы с большим удовольствием барахтались в душистом свежем сене. Эти стога так и оставались потом в степи до зимы, и только глубокой зимой ездили

за сеном на нескольких дровнях, перевозя его домой постепенно, по мере надобности.

Уборка хлебов производилась также в степи. Молотили лошадьми на приготовленном „току“: их связывали в круг одну лошадь к хвосту другой, в середине становился человек с кнутом и гонял их; это дело обыкновенно поручали нам.

Но самым приятным делом для нас с Ленькой было гонять вечером лошадей на водопой; водопой находился обыкновенно довольно далеко от становища, это были или степное озерцо или речонка или, наконец, глубокий степной колодезь. Сгонять пять-семь лошадей мог бы и один человек, но мы были неразлучны и поэтому нас посылали обоих. Мы садились верхом без седла, босые, без шапок на двух лошадей, а остальных гнали степью перед собой. Хорошо было нестись вскачь по широкой степи навстречу горячему степному ветру, пропитанному запахом хлеба и трав. Несмотря на запрещение старших, я любил без нужды гарцовать на своей лошади, чтобы она бодрилась и плясала, а Ленька, как Санчо Панса, трезво трусил позади меня на брюхастой старой лошади, смеялся и просил „не маять“ попусту лошадь, но я, в упоении скачкой, не слушал его...

Со степью расставались мы только в ядреные августовские дни, когда солнце уже светило нежарко, а в небе неслись журавли и тенета. Возвращались шагом на тяжелых возах зернового хлеба. Колеса телег тогда были свеже смазаны дегтем и так приятно было лежать на возу с краюхой хлеба в руке, править лошадью,

слушать, как скрипят колеса под тяжелою кладью, вдыхать смешанный запах дегтя и пшеницы.

В деревне ждала нас домовитая, запасливая, сытная мужицкая осень: собирали арбузы, дыни, тыквы и огурцы с бахчей, молотили подсолнухи, ходили в лес за грибами и осенними ягодами: терном и ежевикой.

Эта жизнь, несмотря на отсутствие удобств, даже в сравнении с жизнью моей семьи, несмотря на тяжесть труда и кое-какие лишения все-же, чрезвычайно нравилась мне. После уборки хлебов наступало сравнительное безделье и тогда мы всей нашей сроднившейся с давних лет компанией—Ленька, я, Леска, Степка и Аляпа—пропадали в лесу, предоставленные самим себе; тут у нас начинались игры, затеи, предприятия: иногда забирались в чужие огороды и крали там арбузы, огурцы, подсолнухи, но чаще ловили и варили на берегу Постепка раков. Играли в разбойников. Последнее мое посещение родной деревни в детском возрасте закончилось довольно скандальным происшествием. Мы играли в „разбойников“ на берегу Постепка, под горой. Я избран был атаманом, мой дядя-Ленька—моим эсаулом. Местом игры мы почему-то избрали кучи навоза, который в течение целого года вывозили сюда со всей деревни с целью, чтобы весеннее половодье унесло его,—иного применения навоза деревня не знала, отчасти вследствие своего участкового хозяйства. Навозу была масса, и он лежал большими кучами, высохшими за лето. И вот одному из нашей шайки, а именно—соседскому Степке, которого дразнили Овечьей

Харей, пришла идея поджечь этот навоз, так как у него были спички. Но без разрешения атамана он этого сделать не решился и обратился ко мне за разрешением.

— Не надо! не вели!—шептал мне благоразумный дядя, но я, недолго думая, разрешил.

Степка, как бес, обежал все кучи навоза и все их зажег. Вскоре образовалось такое грандиозное пожарище, что дым поднялся высоко к небу и поплыл над деревней, а из деревни прискакал верхом мужик, дежуривший при пожарном сарае. Увидя нас, любующихся великолепною картиной пожара, он пришел в ярость, кричал, ругался и высказал уверенность, что мы все будем высечены. Потом ускакал.

Тогда мы стали держать совет: как нам быть? Я не испугался и, подумав, выдумал следующее: как атаман, виноват один я, а чтобы никто из нас не пострадал, я должен сейчас же бежать из деревни к моему отцу, за шестнадцать верст. Шайка же пусть заявит, что зажигал не Степка, а я. Все, кроме Леньки, одобрили мою мысль и разбежались по домам, а я, вырезав в лесу длинную дорожную палку и перепоясавшись, сейчас же отправился в путь. Чтобы меня не догнали, я велел сказать, какой дорогой пошел, на самом же деле воспользовался известными мне глухими тропинками пешеходов. Напрасно Ленька умолял меня не уходить. Я был непреклонен. Я уже вышел за деревню, а Ленька, как верная собака, все еще бежал за мной, повторяя: „воротись! воротись!“ И плакал. Слезы двумя сплошными ручьями текли у него по ли-

цу. Мое сердце ныло от любви и жалости к Леньке, но я думал, что исполняю свой товарищеский долг и продолжал шагать, не отвечая ему. Чтобы не разжалобиться видом Ленькиных слез, я решил не смотреть на него и шел не оглядываясь. Долго Ленька, плача и приговаривая: „воротись“, мягко шлепал позади меня босыми ногами по пыльной дороге, наконец умолк. Тогда я оглянулся: Леньки не было.

Дело было к ночи и, как я потом узнал, дед лично поскакал верхом догонять меня по большой дороге, но, конечно, не встретил меня.

Навоз же никак не могли потушить, он тлел несколько недель, пока не пришли осенние дожди.

Я благополучно добрался домой, но, конечно, о причине моего внезапного пешего возвращения ни гу-гу. Когда, спустя несколько дней, из деревни приехали знакомые и отец узнал всю эту историю, то прочел мне длинную и суровую нотацию. Перед тем мы с ним вместе только что прочитали „Одиссею“ в переводе Жуковского и оба находились под впечатлением прочитанного. Отец находил позорным для меня не столько поджог, сколько бегство.

— Если бы ты всем твоим родным сказал, что уходишь, тебя бы проводили с честью, напекли бы тебе на дорогу лепешечек и ты возвратился бы в дом отца твоего как герой, как Одиссей с дарами... а теперь ты что?—беглец презренный!

Я слушал его с мрачным видом нераскаявшегося разбойника и ничего не отвечал ему.

V.

До открытия двухклассного училища оставался целый год. В этом году, свободный от школьных занятий и работая с отцом, я особенно много читал, доканчивая общественную библиотеку. Особенно сильное впечатление производили на меня стихи. Долгое время я находился под обаянием баллад Жуковского и в особенности поэмы „Рустем и Зораб“. Я рисовал и раскрашивал красками отдельные сцены из „Рустема и Зораба“, как они представлялись моему воображению: рисовал непрерывно и достиг в этом искусстве для моего возраста довольно больших результатов. Потом Жуковского вытеснил Пушкин, который весь целиком, и стихами и прозой, захватил меня, унес в какой-то чарующий волшебный мир. Я почувствовал вдохновенную музыкальность его языка и был опьянен ею. Долго рисовал сцены из „Руслана“. „Демон“ Лермонтова не понравился—показался скучным, я не понял его тогда, гораздо интереснее был Печорин. Когда же прочел Кольцова и Никитина, то они оказались настолько близкими и родными мне, что я и сам впервые ощутил желание писать стихи, подражая им. У меня „у самого“ нашлись впечатления, близкие тому, что описывалось у них. Я попробовал вылить их в стихи. Сначала меня затрудняло подыскивание рифм, но потом я довольно скоро стал владеть стихом и размером. В особенности сильным оказалось влияние Никитина: мои стихи казались вариантами его стихотворений. Я испи-

сал несколько тетрадей, бессознательно подражая Никитину. Отец мой, сам обожавший его стихи до того, что не мог читать их без слез, очень хвалил мои упражнения, и это ободряло меня. Темою дальнейших моих стихотворений были картины и эпизоды из окружающей меня сельской жизни, но и от них сильно отдавало Никитиным. Отец указывал мне на эту мою невольную подражательность, которую я сначала не замечал, сильно понижавшую достоинства моих стихов. Но я никак не мог от нее отделаться. Тогда я решил написать что-нибудь прозой и поведал отцу несколько тем, возникших у меня, но отец, читавший все прочитанное мною одновременно со мной, со смехом указывал, что все эти „мои“ темы напоминали то „Ундину“, то „Рустема“, „Руслана“ и т. д., что после его указаний мне и самому становилось ясным. Наконец я решил написать один из устных рассказов моего отца. Он был великолепным рассказчиком и не раз рассказывал мне и другим слушателям одну занимательную историю, в свою очередь, когда-то давно вычитанную им. Это была история из жизни английских рыбаков. Героем ее был мальчик, унесенный бурей на необитаемый остров. Дома его считали утонувшим, а он три года жил один на далеком необитаемом острове и там вырос. На острове он нашел кучу красивых камешков, которыми и забавлялся. Но однажды в его шалаше возник пожар, охвативший заготовленные им на зиму дрова. По дыму пожарища отец и родные нашли его и возвратили домой. Камешки, которые он взял с собой, оказались, конечно, алмазами необыкновенной ве-

личины. По этому случаю мальчик, теперь уже юноша, был позван во дворец к королю и женился на королевской дочери. Эту наивную историйку отец рассказывал с подъемом и таким несомненным художественным талантом, что увлекал не одного меня. Я написал довольно длинную повесть под заглавием: „Необитаемый остров или куча дорогих каменьев“. Правда, английские рыбаки очень походили у меня на русских мужиков, но они говорили живым языком моего отца, да и вся повесть, написанная под свежим впечатлением мастерского рассказа, вероятно, сохранила многое от рассказчика, потому что, когда мы показали мое произведение учителю, он нашел, что для моих лет повесть хороша.

Ранняя жадность к чтению, которое хотя и было совершенно беспорядочным и бессистемным, преждевременно развила меня, так что в тринадцать-четырнадцать лет я совсем не нуждался в обществе своих школьных товарищей-однолеток, мне уже нужны были люди, знавшие и любившие литературу, но из таких людей был около меня только один мой отец.

По моему мнению, это был человек исключительных способностей и большой талантливости, на голову стоявший выше своей среды. Это был оригинальный, своеобразный человек, самоучка, безграмотно писавший, но много читавший, много думавший и много переживший в продолжение своей тяжелой, интересной жизни. Говорил он увлекательно, рассказывал художественно; будучи моим единственным и постоянным собеседником с

самых ранних лет моей жизни, он имел на меня влияние едва ли не большее, чем все прочитанные мною книги. Будучи, в противоположность мне, человеком позднего развития, только тридцати лет выучившийся грамоте в солдатской казарме в „николаевские“ времена, он только теперь, в пожилые годы, „слишком поздно“ вместе со мной продолжал читать и учиться, обнаружив совершнно юношескую впечатлительность, душевную свежесть и пламенное сердце. Его жадность к знанию была безгранична, читать любил он давно и оказался неожиданно начитанным человеком. Он любил математику, порядочно знал медицину, увлекался механикой, пробовал изобретать вечный двигатель. Знал законы настолько, что впоследствии успешно занимался адвокатурой по мировым учреждениям. В „науку“ веровал благоговейно Кроме того, был разносторонне талантлив: виртуозно играл на гуслях, очень хорошо на гармонии, играл на гитаре, на скрипке, на балалайке, на флейте, обладал прекрасным голосом и очень хорошо пел, обладая большой музыкальной памятью и прекрасным слухом. Хорошо рисовал, имел ораторский талант и артистически рассказывал. Был остроумен. Славился, как непобедимый шахматист. Тонко чувствовал красоту, поэзию, сам любил говорить в рифму и, как оказалось впоследствии, пытался писать в литературной форме. Он декламировал наизусть почти всего Беранже в переводе Курочкина, много из Пушкина, Лермонтова, Никитина, Кольцова... Самоучкой выучился французскому языку и, хоть плохо, но мог читать и понимать французскую грамоту. Под конец

жизни, когда я был уже взрослым юношей и мы переселились в город, он далеко опередил меня в умственном развитии, с увлечением читая, как интересный роман, сочинения Бокля, Милля, философию Канта и Шопенгауэра. Если правда, что в каждой семье известный ряд поколений создает, наконец, самого выдающегося своего человека, то в нашей фамилии, которая, кстати сказать, только с моего отца и началась, такой человек уже был, с меня и остальных моих братьев началось понижение и, так сказать, измельчание фамилии, многочисленные таланты и способности, в связи с большой энергией в детях, как бы разбавлены, разжижены. Путем наследственности каждый из нас получил только часть того богатства, которым так счастливо одарила его природа: ко мне перешла, вероятно, его способность к литературе, таившаяся и, вследствие условий его жизни, погибшая в нем, другому брату достались его математические и научные способности, третьему и четвертому—музыкальность и голос, а пятому—только волосы—красивые, густые кудри, которыми до старости щеголял отец. Всех нас родилось одиннадцать человек, выжило семеро: пять братьев и две сестры; сестрам почти ничего не досталось,—мужская линия как бы обобрала женскую, как почти всегда бывает в талантливых семьях.

Кстати скажу о его наружности: она у него была оригинальная и не походила на обычный тип русского человека: он был смуглый, стройный, худой, горбоносый, с темно-русыми кудрями, с энергичным, резко и определенно очерченным профилем, с бородой в виде

правильной эспаньолки, мускулистый, ловкий, весь как бы из ремней. Держался молодцевато и браво, по-военному. Когда Шаляпин создал теперь всем известный грим Дон-Кихота, меня невольно поразил этот благородный образ своим странным сходством с моим отцом; в этом может всякий убедиться, если когда-нибудь увидит портрет моего отца, сохраняющийся у меня. Возможно, что люди с дон-кихотской душой похожи на него и наружностью. Многие, знакомясь, спрашивали его: не француз ли он? И действительно, в его жилах могла быть европейская кровь, если принять во внимание, что его мать была воспитанницей помещиков Бестужевых во времена крепостного права, а выдали ее замуж за простого мужика, что, как известно, делалось в виде наказания за неудачную любовь, а французы в те времена имелись в качестве учителей, музыкантов или художников в каждом богатом помещичьем доме. Конечно, это только мое фантастическое предположение, но слишком уж мало было как в наружности, так и в натуре моего отца типичного русского, мягкого, расплывчатого, славянского. С другой стороны была в нем, вероятно, и восточная, монгольская кровь, так как мать его, происходившая из полутатарского села Тушкума Симбирской губернии, конечно, не была француженкой, и о характере ее отец, помню, рассказывал, что она была деспотичная, вспыльчивая, порывистая — черты, бывшие и в характере отца. Наконец — его необузданная фантазия, пламенность и живость темперамента, смуглость лица и нос с горбинкой, а в характере — смесь мечтательности с энергией, благородства с жесто-

костью и злопамятностью, веселой, остроумной находчивости с хитростью, заставляют меня думать о его нерусском, смешанном происхождении. Во всяком случае эта предполагаемая мною счастливая смесь французского с татарским создала в результате высоко одаренного человека, каким я, видавший в своей жизни многих замечательных людей и поэтому могущий сравнивать, без преувеличения считаю теперь моего отца: вот причина, по которой я так подробно останавливаюсь в этих записках на его характеристике. Таков был человек, бывший моим отцом, учителем и воспитателем. Ранним пробуждением умственных интересов, любовью к литературе и склонностью к занятиям ею я главным образом обязан ему. Отец мой, несмотря на свою бедность, скоро сделался популярным и уважаемым человеком не только для всего села, но и для всей округи, и не только как замечательный мастер столярного дела, а главным образом как развитой и отзывчивый на чужое горе человек; к нему все мужики как нашего села, так и соседние приходили и приезжали во всех затруднительных случаях жизни за бесплатными советами, чаще всего за судебными и медицинскими. Все они знали его с давних лет, доверяли ему, уважали и любили его.

С местной интеллигенцией у отца были отношения приятельские: учитель, врач, фельдшер, мировой судья, письмоводитель его, начальник станции, железнодорожный фельдшер — все, кроме попа, были его друзьями и частенько захаживали к нам в нашу бедную избушку на краю села: всем им часто бывал нужен столяр, а,

познакомившись с ним, они заинтересовывались этим необыкновенным столяром, с ним всегда начинался увлекательный, отвлеченный, литературно-идейный, совсем не столярный разговор; когда же он налаживал гусли и начинал играть и петь—фурор получался необычайный. Благодаря гуслям нас с ним обоих часто приглашали в качестве музыкантов, когда у кого-нибудь из них по случаю именин или праздников собирались гости на вечеринку. За наше таперство отцу платили три рубля, но зато принимали нас как артистов и относились чуть ли не с бо́льшим почетом, чем к остальным гостям; отец мог не только без устали целую ночь отхватывать под „кадриль“ или „польку“, но и выступать со своими интересными песнями, а „русскую“ играл с таким могучим подъемом, с таким вдохновением, что, кажется, мертвые могли бы заплясать. Иногда на этих вечерах, если собиралась многолюдная публика, отец имел выдающийся художественный успех.

Так, я помню, однажды на святки нас пригласили на торжественный вечер в имение к богатому помещику, до которого дошла слава о знаменитом гусляре. Помещик торговал лесом и дом его стоял в лесу, верстах в двадцати от нашего села, близко от нашей родной деревни. Гостей съехалось из города и соседних имений человек до пятидесяти. Было много нарядных, красивых дам и барышень. Женщин этой высшей породы я до этих пор никогда еще не видал, да и в барские хоромы попал в первый раз в жизни.

Помню, когда мы вошли с гуслями в большой светлый зал, разделенной надвое полукруглой аркой, меня

поразила следущая картина: за аркой на диване сидела женщина в белом платье и такой необычайной, как мне показалось, красоты, что я остановился как вкопанный: нежное лицо ее было белее сливок, голубые глаза сияли, белокурые волосы лежали короной как у царицы. Она держала в руках мандолину, но не играла на ней, а звуки между тем лились как серебряный ручей... Не могу передать того ошеломляющего впечатления, которое я тогда пережил в одну минуту... Я был потрясен этой еще никогда невиданной мной красотой... Впечатление, вероятно, было усилено необычайностью обстановки и необъяснимыми звуками небесной музыки; я думал, что они исходили из мандолины, и только когда она отбросила ее, а звуки все еще лились, я понял, что это была какая-то волшебная музыка невидимых музыкантов, о которой я читал в „Руслане“ в описании замка Черномора... Мне сделалось дурно, и я едва не упал в обморок... Потом объяснилось, что волшебная музыка исходила из маленького заводного ящичка, стоявшего в комнате и которого я сначала не заметил... А красавица подошла к нам и, увидя меня, расхохоталась серебряным смехом, удивительно похожим на поразившую меня невидимую музыку... Эта первая встреча с женщиной из „высшего круга“ вспоминалась мне потом всю мою жизнь.

Шумный, блестящий бал с толпой разряженных кавалеров и дам, с грациозными танцами, с пением и смехом, с цветами и шипящим вином в длинных хрустальных бокалах показался мне рыцарскою сказкою. Мы долго играли, гости долго танцовали, а под конец отец, аккомпанируя себе на гуслях, спел лучшие свои

песни... Кроме интересных народных и старых охотничьих песен он пел еще шотландские рыцарские баллады и походил в это время на баяна или барда древних времен... Помню бурный восторг подвыпивших знатных гостей: отца обнимали, целовали, наперебой хвалили и горстями совали в круглую дыру его гусель серебряные монеты, трехрублевые бумажки... Когда на другой день мы возвратились домой, отец долго вытряхивал из внутренности своих гусель серебряные и бумажные деньги. Вечером к нашему дому подъехал целый обоз, нагруженный дровами,—это помещик кроме платы прислал отцу целых двадцать возов дров, что при тогдашней дешевизне стоило, вероятно, рублей шестьдесят; помню, как удивила и обрадовала отца такая неслыханная щедрость.

Благодаря музыкальному таланту и симпатичной своей личности, отец всегда был желанным гостем у всей интеллигенции нашего села. В особенности сошелся он почему-то с мировым судьей. Мировой судья был барином того типа, которых, как я узнал впоследствии, называли „народниками“. И когда отец приходил к нему за чем-нибудь вместе со мной, он давал нам обоим руку, сажал за стол, предлагал чаю, а с отцом разговаривал просто, как с равным себе человеком. Помню, отцу, испытавшему на себе все ужасы крепостного права, вплоть до николаевской солдатчины, очень нравилось такое обращение и „народнические“ разговоры судьи. Но ему не повезло в нашем селе, „народ“ думал, что судья, часто приговаривая к денежному штрафу вместо заключения в тюрьму, берет эти деньги се-

бе, и возненавидел судью; когда он ехал по селу, вслед его коляске летели камни. Вскоре этот судья перевелся в город и на его место прислали другого, старого крепостника, ненавидевшего мужиков; этот за каждый пустяк приговаривал в острог; тогда мужики поняли, что прежний судья все-таки был лучше, и сожалели о нем. Отец своими „советами“ часто вызволял чересчур строго осужденных, и решения второго судьи, благодаря моему отцу, нередко отменялись на съезде. Это возбудило ненависть крепостника к моему отцу и между ними возгорелась борьба, окончившаяся победой моего отца. Борьба эта происходила значительно позднее, уже без меня, а теперь, когда я жил при отце, а потом учился в двухклассном училище, народник - судья был другом моего отца.

Письмоводитель судьи, молодой человек лет 20—22, ходил к нам каждый день, обучаясь у отца столярному и токарному ремеслам, а также игре на гуслях. В ремеслах он делал успехи, но гусли ему давались плохо: у него не оказалось слуха. Тем не менее, через несколько месяцев мучительных упражнений он выучился брать аккорды на гуслях. Это почему-то вдруг задело мое самолюбие; в раннем детстве, когда мы были трактирными музыкантами, гусли в значительной степени мне опротивели, и поэтому до сих пор я не чувствовал желания поучиться игре на них. Но когда посторонний человек—друг отца и мой товарищ, стал играть на наших гуслях, а я играть еще не умел, во мне заговорило соревнование; я тоже принялся учиться игре и в две недели опередил неспособного уче-

ника. Через каких-нибудь полгода я уже отлично играл на гуслях, некоторые песни выходили у меня не хуже, чем у отца, а письмоводитель так и не пошел дальше механических аккордов.

Звали его Петром Николаевичем. Этот человек был обожателем моего отца, слепым поклонником его талантов и прочих блестящих качеств. Сам лишенный какой-либо талантливости, юноша особенно склонен был поклоняться талантам, в себе же не ценил прекрасной души, доброго сердца и хорошей головы. Но зато все это оценил отец. Дружба юного духом старика с юношей, который сделался как бы его оруженосцем, возбуждала даже ревность во мне,—я ведь тоже обожал моего отца, а временами казалось, что отец любит больше его, чем меня. Возможно, что отчасти это и было так, в глазах отца я еще был ребенком, я же чувствовал себя старше моих четырнадцати лет и держался с Петром Николаевичем на равной ноге, возбуждая моими стихами его неприторные восторги.

Я часто по-приятельски заходил к нему в камеру мирового судьи, где он жил в примыкавшей к ней маленькой комнатке, а если не заставал его, то оставлял ему написанное тут же юмористическое письмо в стихах. Находясь под обаянием прочитанных мною поэтов, я писал по нескольку стихотворений в день, исходил стихами и писал их очень легко. Стихи эти Петр Николаевич бережно списывал в особую тетрадь, а письма в стихах хранил и показывал знакомым. Таким образом и судья вскоре узнал о моем стихотворстве.

Дружба моего отца с Петром Николаевичем была, ак потом показало время, редкостной, глубокой, неж-ой и целомудренной дружбой: всю жизнь до самой мерти отца они были „на вы“, звали друг друга по мени и отчеству и как бы скрывали от посторонних, может быть, и от самих себя, насколько они дороги дин другому: это были учитель жизни и безгранично веровший прозелит, Дон-Кихот и Санчо Панса. Отец ой, романтик и оптимист, в высокой степени наделен-ый способностью страстно веровать, ни в ком из окру-кавших его людей не встретил такой покорной веры в его собственную философию жизни, в его оптимисти-ческое бодрое учение о конечном торжестве справедли-вости, добра, науки и всяческого света, какую встретил он в Петре Николаевиче; вероятно за это абсолютное подчинение себе, за эту полную веру в его излю-бленные идеалы отец мой так и любил Петра Николае-вича, совершенно растворившегося в его личности. И Петр Николаевич остался верен своему учителю до мо-гилы. Лет через десять, когда мы все трое жили в городе и отец мой умирал в подвале, одинокий, лишен-ный общества интеллигенции, которым, как это ни стран-но, он пользовался только во время своей деревенской жизни, лишенный всех культурных благ города и, на-оборот, затолканный и затоптанный в самые низы го-родской нищеты, когда он умирал, так и почувствовал приближение смертного часа, чуть ли не последними его словами были: „пошлите за Петей“. Петя прибежал к нему в глухую зимнюю городскую ночь, и они успе-ли проститься. За простым некрашеным гробом моего

отца, этого первого замечательного человека, которого
знал, человека с героической натурой, погибшего в
щей беспросветности русской жизни, такого нетипичн
го для массы русских мягкотелых людей, такого один
кого со своей энергичностью и несломленной верой
светлое будущее, за этим гробом, несомненно, сильно
человека шел, кроме меня, только один друг его,
потерявший веру в его идеалы: это был Петя.

Петр Николаевич сделался как бы своим человек
в нашей семье, проводя у нас все свое свободное вр
мя. По праздникам мы засиживались до глубокой но
в разговорах о прочитанных книгах, в мечтах о буд
щем России и всего человечества. Не раз отец ра
сказывал нам свою интересную, многострадальную жизн
и, рассказывая, плакал. Мы расходились под глубоки
иногда потрясающим впечатлением его речей и ра
сказов, и вот под их-то влиянием в юной душ
моей зарождались тогда серьезные мысли, стихи
поэмы.

Я задумал описать его жизнь.

VI.

За все время моего детства отец мой был довольно
равнодушен к церкви, куда он ходил разве только ра
в год к пасхальной заутрене, при чем всегда становил
ся на клирос к певчим и подтягивал хору не очень
сильной, но приятной октавкой. Некоторые из церков
ных песнопений ему нравились по напеву и содержа
нию, и он иногда дома обучал меня петь их. Еще в

аннем детстве отец рассказывал мне с обычным своим астерством наиболее яркие эпизоды из священной исто-ии: о жизни первых людей в раю, о всемирном по-опе, об Исаве и Иакове, трогательную историю о прекрасном Иосифе, о Давиде и Голиафе. Но прежде сего этого он с поразившей меня яркостью рассказал не „Потерянный и возвращенный рай", читанный им огда-то, о грандиозной борьбе ангелов между собою и поединке вождей их: Михи с Сатанаилом. Долго Ми-а, посланный богом свергнуть восставшего Сатанаила, не мог одолеть его потому, что Сатанаил был у бога амый любимый и поэтому самый сильный из ангелов. Тогда бог отнял у Сатанаила окончание его имени „ил", и прибавил Михе: от этого Михаил сделался сильнее Сатаны и победил его, свергнув со всем воинством с небес в преисподнюю. Удивительно хорошо рассказывал он мне о рождестве Христа, о волхвах, ведомых звездою, об избиении вифлеемских младенцев и в особенности о страстях Христа, о тайной вечери, предательстве Иуды, об отречении Петра, о распятии Христа на Голгофе. Во время этих рассказов мы часто плакали оба, и когда потом мне пришлось в школе учить евангелие, оно уже не произвело на меня такого впечатления, как в его устной, красочной и вдохновенной передаче. Под впечатлением рассказов отца я писал стихотворения на евангельские темы. Для меня несомненно, что отец мой был истинно религиозным, но уже настолько просвещенным человеком, чтобы не исполнять религиозных обрядов; почти не ходил в церковь, не соблюдал постов.

Была еще внешняя причина, надолго оттолкнувш его от церкви: это какая-то давнишняя, застарелая ссо с местным сельским протопопом.

В нашем селе с незапамятных времен тридца пять лет бессменно владычествовал старый заслуженны благочинный протопоп—человек старинной закваски, о ращавшийся с прихожанами с чрезвычайной властность и деспотизмом, в некоторых случаях он даже бил и собственноручно, и они с давних лет привыкли к тако му обращению. Должно быть, еще в прежние годы, ко гда меня и на свете не было, произошло какое-то же стокое столкновение всесильного протопопа с моим от цом, который, вероятно, так и не склонился перед власт ным начальником села, привыкшим вмешиваться в ча стную жизнь прихожанина и гнуть всех в дугу, но тех пор отец почти никогда не появлялся в церкви и н встречался с попом.

Не успел я окончить школу, как протопопа сме нили—перевели в город, а на его место прислали нового благочинного. Этот был еще нестарый, с кучей подрастающих детей, высокий, тощий и с такими по вадками, которые удивили и взволновали все село: он служил длинно, ревностно, говорил живые, интересные проповеди, не преследовал раскольников и не брал с них своих поповских поборов, не ругался, не дрался, был обходителен и ласков со всеми: все эти неслы ханные качества привлекли многих к церкви, в том числе и моего отца: года два продолжалось его страст ное увлечение религиозными вопросами, пока это увле чение не привело его, а вместе с ним и меня, к

совершенно обратному результату: последовало близкое знакомство с новым благочинным, который не оказался ни святым, ни подвижником, как того хотело было сначала все село, а главное—завязалась дружба с его детьми—семинаристами, которые тотчас же снабдили нас „запрещенными“ сочинениями Льва Толстого вроде „Церковь и Государство“, „В чем моя вера“, „Евангелие“ и проч., а также сочинениями Чернышевского, Добролюбова, Писарева.

Знакомство с детьми благочинного произошло как раз тогда, когда я уже кончил школу, писал стихи и был четырнадцатилетним столяром.

Семинары приехали из города на святки и затеяли утройство „грандиозного литературного вечера с „елкой“ и встречей Нового года. Конечно, им прежде всего спонадобился столяр и музыкант, что как раз и совмещалось в моем отце. Кроме того они уже слышали, что сын столяра—поэт и очень хотели ознакомиться с моими произведениями, чтобы пригласить меня выступить на литературном вечере.

И вот однажды в морозный декабрьский день на святках в нашу мастерскую вошли два молодых человека очень высокого роста, тонкие, оба красивые: мне они показались похожими на Остапа и Андрея из Тараса Бульбы. Отрекомендовавшись, они принялись толковать с нами о предстоящем литературном вечере. Тот, который был постарше—брюнет с едва пробившимися черными усиками, оказался племянником благочинного; звали его Василием Виноградовым, лет ему было двадцать, и он учился уже в пятом классе духовной семи-

нарии, изучая „богословие“. Богослов казался серьезным человеком, развитым и начитанным, даже ученым, с любовью говорил о литературе, пересыпая речь свою цитатами то из Белинского, то из апостола Павла. Было видно, что главный организатор вечера—он.

Другой был—старший сын благочинного, Аркашка, которого я мельком видал и прежде на клиросе, когда он был еще в духовном училище и приезжал к отцу своему на святки и на пасхальные каникулы. Теперь ему было лет восемнадцать: плечистый, стройный, ростом еще выше богослова, он казался великаном. Этот сразу произвел впечатление весельчака и юмориста. Какая-то милая жизнерадостность словно била из него ключом, каждый предмет он видел прежде всего с веселой стороны, смешил нас и сам заразительно смеялся Компания была преинтересная. Мой отец, конечно, очень быстро увлек молодых людей своими остротами и красноречием, заинтересовал неожиданной для них литературностью и обыграл обоих в шахматы. Когда же он сыграл им на гуслях, молодые люди пришли в восторг, сразу подружились с ним, а на меня пока еще посматривали покровительственно, как на мальчика. Все же они попросили дать им на прочтение тетрадь моих стихов и ушли, приглашая меня побывать у них и принять участие в изготовлении елочных украшений.

Я обещал.

Но не успел я собраться к ним, как на другой же день они опять приехали к нам на поповском рысаке в чрезвычайно радостном возбуждении: оказалось,

что, прочитав мои стихи, они признали меня „настоящим поэтом“. На этот раз особенно много и „умно“ говорил Вася Виноградов, уверяя меня, что из меня „должно“ выйти что-нибудь если не вроде Лермонтова, то вроде Кольцова, что я „поэт из народа“, что должен серьезно заняться, и предложил себя в руководители моим развитием. Чуть не моментально, как это бывает только в очень юные годы, мы горячо полюбили друг друга и с этого дня почти не расставались до дня его отъезда, а потом долго переписывались, при чем все мои письма были в стихах.

Литературный вечер решено было устроить в обширном помещении школы, при чем я обязался прочесть свои стихи. Ко дню спектакля я действительно написал стихотворение „Новый год“, которое очень понравилось семинаристам, и решено было, что я прочту его на вечере.

„Вечер“ удался на славу: съехалась вся наша интеллигенция с женами и дочерьми, с наехавшею на каникулы молодежью, были попы, учителя, врачи, судья, семинаристы, студенты, барышни, начальник станции с телеграфистками и приехавшими к нему гостями из города, даже был какой-то юный поручик, выступавший с пением модных тогда куплетов. Литературная программа оказалась обширной: каждый из молодых людей оказался или певцом или декламатором, а Вася Виноградов—обладателем прекрасного баритона. Всем исполнителям шумно аплодировали, все имели успех, а громадная елка была богато увешана подарками. Было вино, закуски, чай, фрукты и сласти.

Мое стихотворение вызвало самые шумные аплодисменты; стихи были „на случай“, своевременны, а главное, всем казалось удивительным, что они только что написаны и читаются самим автором—таким еще зеленым подростком. Чтобы окончательно увенчать мой успех, Вася тотчас же после моего чтения провозгласил:

— Господа, это наш, здешний, нашего села, поэт, ура ему.

И мне прокричали „ура“. Потом все меня обступили и на перебой стали „принимать во мне участие“. Начальник станции заявил, что у него есть сочинения Некрасова и что он даст мне их почитать, пусть только я приду к нему завтра к вечерку.

Это обещание меня заинтересовало больше всего: о Некрасове я слышал, но еще не читал его. На другой день, во вьюгу, я отправился за три версты на станцию „за Некрасовым“. Начальник спал после обеда. Уже стемнело, когда он проснулся и действительно дал мне два томика стихов Некрасова. Никогда не забуду, с каким необыкновенным чувством счастья лез я с ними ночью по пояс в сугробе, снежным полем, среди завывающей рождественской метели. Когда я пришел домой, мы с отцом тотчас же начали читать знаменитого поэта. Первое, что мы прочли в этот вечер—было „Кому на Руси жить хорошо“, и так были очарованы музыкальной силой языка прославленной поэмы, что, только дочитав ее до конца, заметили отсутствие рифм в стихах ее. Это был один из счастливейших вечеров моей жизни; мы читали всю ночь до рассвета,

то смеясь, то плача и чувствуя такой близкой и родной нам „эту бедную, в крови, кнутом иссеченную музу“.

VII.

После моего успеха на вечере семинаристы почти каждый день приходили к нам в гости: послушать игру на гуслях, сыграть с отцом в шахматы, поспорить с ним о высоких материях, послушать мои новые стихи, которые появлялись у меня ежедневно, приносили новые книги, на которые я жадно набрасывался. Васю Виноградова интересовала каждая написанная мною строчка стихов и, читая их, он критиковал каждое стихотворение, подчеркивая карандашом неудачные, по его мнению, слова или рифмы. Потом долго и много говорил о поэзии, очень часто ссылаясь на Белинского, которым он, повидимому, в то время увлекался. Попятно, мы с ним и с Аркашей давно уже сошлись на „ты“: это были мои первые друзья, принявшие меня в свою компанию на равных правах, несмотря на разницу в возрасте, но я был старше своих лет и хотя они подавляли меня своею образованностью и манерами барчуков, но вместе с тем и преклонялись передо мной, так как признавали у меня талант „поэта“. Вася уже бескорыстно мечтал о моей будущей „славе“. Он старался развить во мне литературный вкус и, как образчик изящества, принес „Записки охотника“, по поводу которых говорил очень долго. Я не все понимал у него. Как теперь мне кажется, это был чисто книж-

ный идеалист, настроенный очень сантиментально. Мужиков он всех представлял себе „Хорями“ и „Калинычами“ по Тургеневу и „золотыми сердцами“ по Златовратскому, готовился быть идеальным сельским священником, но впоследствии, по окончании семинарии, при первом же столкновении с реальными, живыми мужиками, навсегда возненавидел их, отбросил весь свой идеализм и взялся за создание иерейской карьеры. Это случилось всего через два года, когда я поступил в учительскую семинарию и окунулся в революционно-настроенный мир молодежи, а он уже „священствовал“ где-то в селе. Мы обменялись тогда только двумя „последними“ письмами и разошлись навсегда.

С Аркашей дружба моя потом оказалась прочнее, взгляды наши сложились ближе, он скоро оставил семинарию и поступил в землемерное училище, по окончании которого нелепо и неожиданно для всех умер от скоротечной чахотки, всего 23 лет от роду: судьба весельчаков в России всегда почему-то бывает печальна. При более близком знакомстве с ним я убедился, что встретил в нем не совсем заурядного юношу,—жаль, что он так рано умер. Как все настоящие, большие юмористы, он оказался таинственно-серьезным“, глубоким, умным и наблюдательным человеком.

Но теперь он только шутил, смешил и сам от души смеялся, а „об умном“ говорил Вася Виноградов.

Ему я поведал свои дальнейшие литературные планы, а именно: я хотел написать поэму—интересная жизнь моего отца, полная драматических переживаний в условиях крепостного права, вдохновляла меня на этот

труд Вася благословил меня на такое трудное, по его мнению, дело, но выразил опасение, что, пожалуй, я буду долго с ней возиться, да так и не кончу. Он принес мне книжку „Правила стихотворения“, которая показалась мне до того скучной, что я так и не прочел ее и до сих пор не знаю этих „правил“.

Друзья затащили меня к себе, и я познакомился со всем многочисленным семейством нашего благочинного. Об этих моих визитах в благовоспитанное общество и о моем поведении там у меня остались очень тяжелые воспоминания. Дело в том, что в непривычной для меня обстановке я оказался страшно застенчивым, неуклюжим, неумеющим держать себя „по-ихнему“, поминутно попадал в забавное положение, возбуждая обидный для моего самолюбия дружный смех всей семьи, тем более, что в числе ее были взрослые барышни—епархиалки, очень смешливые особы.

Так однажды, по заведенному у них этикету, подходя под благословение к благочинному—высокому худощавому попу с длинной каштановой бородой, в подряснике, перепоясанном широким, вышитым разноцветными шерстями, поясе, я, сложивши руки ковшиком, не знал, куда деть шапку, находившуюся у меня в руках, а поэтому в замешательстве надел ее себе на голову: Аркаша, пивший в это время чай, так прыснул в стакан, что обдал себя и других брызгами, а это еще более увеличило взрыв общего смеха и мое смущение: улыбнулся даже благословлявший меня, а я покраснел вместе с ушами и шеей, искренно желая провалиться сквозь землю, но пол под моими ногами был прочный и прова-

литься не было ни малейшей надежды. Подобными позорными случаями изобиловало каждое мое посещение поповского дома. Кроме того, у меня иногда срывались с языка чисто „народные“ словечки, произнесение которых в благовоспитанном обществе считается неудобным, чего я, будучи тогда „сыном народа“, не знал: в этих случаях наступало как бы всеобщее оцепенение, а Аркаша потихоньку дергал меня за рукав или останавливал выразительным взглядом.

Возвращаясь домой, я чувствовал себя до такой степени опозоренным, осмеянным, пристыженным, униженным и во всех отношениях провалившимся, что бил самого себя кулаками, скрежетал зубами, проклиная и себя и родителей своих, не научивших меня хорошим манерам. Я давал себе клятву больше не ходить к ним“, но на другой же день приезжали Аркаша с Васей, уговаривали меня, очаровывали, опять увозили с собой и опять я „проваливался“ на чем-нибудь новом и непредусмотренном. Отказаться же из-за моей застенчивости и невоспитанности от дружбы семинаристов было выше моих сил, слишком уж пылкая была дружба с обеих сторон.

Вопрос о моей выдающейся неловкости, угловатости и непобедимой застенчивости часто при мне же обсуждался всей семьей благочинного с участием его и толстой, благодушной, красивой попадьи. Все гадали о том, когда же, наконец, „это“ пройдет у меня или я всегда буду таким поминутно вспыхивающим от мучительной застенчивости человеком и даже спрашивали об этом благочинного, на что он

авторитетно отвечал, что, конечно, „это“ пройдет с годами.

Предсказание попа оправдалось только отчасти: много лет пришлось мне бороться с собственной застенчивостью и я, наконец, научился скрывать ее, но, будучи, должно быть, природной чертой характера и уже воспитанная в раннем детстве отчужденностью и враждебностью окружающих, она осталась в душе на всю жизнь: образовался как бы шрам или надлом болезненно-самолюбивой души, первыми сильными впечатлениями которой были обиды, какое-то раздвоение, когда вслед за открытым, доверчивым порывом к людям, к людской любви и ласке следует раскаяние, боязнь людей и неприятное для других самоунижение, желание стушеваться, часто принимаемое со стороны за гордость и пренебрежение.

Будучи от природы общительным и любя общество, я, наперекор своей натуре, вынужден был избегать людей, так как насмешки крестьянских школьников во время моей школьной жизни и мои первые тяжелые шаги в благовоспитанном обществе сделали меня болезненно-самолюбивым, и там и здесь я был смешным „оригиналом“, неподходящим ни для той, ни для этой среды.

Однако дружба взрослых семинаристов и в особенности их признание во мне литературного таланта приподняло мое настроение: затаенной целью моей отныне стало как можно скорее появиться в городе и „там“, „оттуда“, как—я и сам не знал, проникнуть в волшебный мир литературы.

VIII.

После отъезда семинаристов главнейшим содержанием моей внутренней жизни было литературное творчество и переписка с Васей Виноградовым. За „поэму“ я принялся с величайшим воодушевлением, и она у меня двигалась быстро: по форме и духу она как бы выходила из поэмы Никитина „Кулак“; под впечатлением „Кулака“ я легко справлялся с диалогом в стихах, которыми, вследствие постоянного упражнения, приподнятости настроения и юной возбужденности своей, владел я тогда лучше, чем впоследствии. Должно быть, я писал ее вдохновенно, потому что вдохновитель был рядом со мной и ему я читал первые главы поэмы, героем которой был он сам. Он слушал, покуривая трубку, и, как Тарас Бульба, приговаривал в сильных местах: „добре сынку“. Слушая поэму о своей жизни, о всех горьких и жестоких, неотомщенных обидах ее, он как бы вновь переживал пережитое, снова рассказывал новые страшные эпизоды, плакал, рассказывая, и разжигал меня: в сущности не я писал—он как бы водил моею рукой, играл на нежных, неокрепших еще струнах юной души свою мрачно-жгучую песнь отмщения: не такие бы струны нужны были старому баяну, но не было других. В две недели поэма была кончена, вновь прочитана вместе, исправлена, отделана и переписана мною набело. В ней оказалось более тысячи стихов, но Петр Николаевич не поленился списать ее для себя, а потом, конечно, немедленно показал судье.

Судья, прочитав поэму, призвал к себе нас обоих и, возвращая рукопись, сказал: „талант несомненный". Затем он предложил мне пользоваться его библиотекой, и это разрешение было для меня огромною наградой за поэму: там я нашел за много лет под-ряд журналы: „Дело", „Отечественные Записки" и „Русская Мысль", в чтение которых и погрузился надолго.

Поэма моя впоследствии, лет через пять, чуть-чуть не попала в печать: была принята редакцией провинциальной газетки, но „чуть-чуть" не считается, цензура не пропустила ее. Потом и рукопись затерялась.

Начавши так рано, в литературу я пришел довольно поздно: лет этак через семнадцать, после тяжелых и горьких, ничего общего с литературой не имеющих, блужданий по белому свету. Поэта из меня так и не вышло, но одну из первых и лучших моих повестей я написал, опять возвратясь мыслью к этой моей первой детской поэме о моем отце.

На пятой неделе великого поста опять приехали семинары—на пасхальные каникулы.

— Ну, как двигается поэма?—спросил меня Вася Виноградов.

Вместо ответа я подал ему тетрадь стихов. Он недоверчиво принялся читать ее, но по прочтении признал ее даже „годной к напечатанию". Я уже чувствовал себя „захваленным друзьями" поэтом и верил в свое писательское будущее: я думал, что оно начнется тотчас же по моем поступлении в учительскую семинарию, что все учителя и директор ее отнесутся к моему

раннему писательству так же сочувственно, как отнеслись ко мне здешний учитель, судья, семинары и все окружавшие меня здесь грамотные люди.

Но мне нужно было еще отдежурить два года в только что открывавшемся двухклассном училище, и я с нетерпением ожидал начала учения.

Впрочем, эти два года промелькнули для меня очень быстро: в училище проходились такие науки, как история, география и геометрия, очень заинтересовавшие меня. Учиться было легко; вследствие моей так сказать „переразвитости", учителя относились ко мне почти как к взрослому, я был у них на особом положении.

По окончании двухклассного училища мне не хватило нескольких месяцев до шестнадцати лет, и я был на целый год оставлен при училище помощником учителя на земской пятирублевой стипендии. Все это время продолжалась моя дружба с семинарами и переписка с Васей Виноградовым, который как раз кончил духовную семинарию в то время, когда я наконец собрался покинуть родное гнездо, чтобы начать новую, заманчивую для меня городскую жизнь.

Мне было около семнадцати лет, когда в августе месяце отец снарядил меня „в город" держать трудный конкурсный экзамен на казенную стипендию в учительскую семинарию.

Обоих нас очень волновал вопрос—сдам ли я экзамен: если сдам—откроется для меня, а следовательно и для всей семьи новое будущее, не сдам—придется возвратиться, и уже навсегда, к столярному верстаку.

— Посмотрим,—говорил, волнуясь, отец,—будет ли го-нибудь там впереди, появится ли какой-нибудь зна-ок или ничего не будет...

Он сам сделал мне небольшой сундучок с тонкими генками „для легкости“, с секретным ящичком и раз-ыми приспособлениями, мать сшила подушку, войлочный зенький матрасик, наготовила белья.

Отец проводил меня на вокзал, обнял, поце-овал, прослезился и дал десять рублей на дорогу.

На этом кончилось мое пестрое, беспокойное дет-тво: началась юность, самостоятельная жизнь и первым тапом суровой школы, пройти которую судьба пред-азначила мне—была семинария.

Семинария.

I.

Мне было около семнадцати лет, когда я приехал из родного села в губернский приволжский город держать экзамен в учительскую семинарию.

Я очень боялся провалиться на экзамене: мне нужно было сдать не кое-как, не тройки или четверки, а не-пременно „кругом пять“ по всем предметам, ибо только таких принимали на десятирублевую казенную стипен-дию, а без нее я все равно не поступил бы в семи-нарию,—отец не имел средств содержать меня в городе.

Тогда пришлось бы с позором возвратиться к с
и, поставив крест на продолжение образования и
затаенных мечтах о „писательстве“—встать за столяр
верстак, примириться, и уже навсегда, с печальной
скромной долей деревенского столяра.

Учительская семинария была единственным учеб
заведением, куда можно поступить на стипендию
сельского двухклассного училища. Это была единств
ная лазейка, щель, в которую можно было вылезть
на свет божий из деревенской тьмы.

Я должен был теперь сделать роковой прыжок
непременно „вцепиться“ без промаха,—от этого завис
вся моя дальнейшая жизнь.

Я понимал всю серьезность момента и подготови
отлично, но кто знает, что может быть на экзаме
Один какой-нибудь коварный вопрос экзаминатора, о
ненаходчивый ответ, одна четверка вместо пятерки
и все пропало!

Кто может помочь мне, кроме меня самого и ра
еще бога, а вдруг он есть этот самый бог всемогущ
в существовании которого сомневался мой отец? Я исп
тывал состояние утопающего, чувствовал, что никто
людей не может спасти меня теперь от возможной
гибели, кроме какой-нибудь сверхъестественной сил
кроме чуда... „Кто на море не бывал, тот и богу
маливался“—и вот я пошел в церковь, в стар
собор, купил за три копейки желтенькую свечку и п
ставил ее пред иконой Николая чудотворца, любимо
мужицкого святого, заступника и покровителя крестьяни

молился ему, чтобы он, Никола, помог крестьянину ступить в семинарию на стипендию, сдать экзамен на общую пятерку.

В сущности, несмотря на мои почти семнадцать лет, сокий рост, басистый голос, начитанность и серьезсть—во мне было еще много детского: я еще любил адкое, не мог пить вина, был целомудрен, а в миты опасности, в роде предстоящего экзамена—верил бога и всех святых его.

Заручившись на всякий случай покровительством иколы, я отправился на экзамен.

Семинария находилась на главной улице и помелась во втором этаже большого трехъэтажного дома; изу был какой-то магазин, а третий этаж занимала артира директора.

В большой просторной комнате, над дверями корой была надпись „I класс", стояли рядами двухстные парты в большом количестве, а перед ними, середине ее—экзаминаторский стол, как эшафот, крытый красным сукном. У стены, между окон на ицу, стояла учительская кафедра.

В комнате шумело много людей: сидели за партами прогуливались от стены до стены десятки юношей; льшинство из них было моего возраста, но некоторые ели усы и брили бороду. Учительская семинария злялась единственной на все Поволжье и Урал, потому в нее стремились кроме крестьян, подобных мне, амые разнообразные люди: был городской элемент—кончившие местное городское училище, были убоявшиеся премудрости духовной семинарии, но особенно выде-

лялись астраханские и уральские казаки, державшиес
сплоченной группой; эти были все великовозрастные,
порядочными усами, некоторым из них на вид казалос
не менее двадцати пяти лет, одевались хорошо, держа
лись независимо, они не нуждались в казенной сти
пендии, так как все были состоятельные или получал
большие стипендии от своих станиц. Все это я узнал
прислушиваясь к разговорам.

Сходились группами, разговаривали, знакомилис
друг с другом, гадали, кому-то выпадет счастливы
жребий сделаться „воспитанником“ семинарии, а ком
поворачивать оглобли назад, смеялись, а у каждого
наверное, как и у меня, кошки скребли на сердце.

Сейчас предполагался письменный экзамен по рус
скому языку.

„Сочинение зададут!“ услышал я крылатые слова
переходившие из уст в уста, и обрадовался; я был уве
рен, что какую бы ни задали тему—напишу хорошо
в двухклассном училище за сочинения мне всегда ста
вили пять с плюсом, но что-то будет здесь? Вероятно
из этой сотни людей, съехавшихся отовсюду, найдутся
сочинители и получше меня?

И я начал всматриваться в физиономии своих то
варищей, стараясь угадать между ними соперников „по
сочинению“ тех, которые превзойдут меня и, быть
может, займут все вакансии на казенную стипендию.
Я старался прислушиваться к тем, кто говорил наи
более „литературно“ или казался более развитым; если
поступлю—то именно они будут моими товарищами...

Больше всех разговаривал один юноша, довольно невзрачный и даже комической наружности: смуглый, с длинным носом, сутуловатый, небольшого роста, живой, с комическими ужимками, он тем не менее держал себя авторитетно, уснащая свою речь множеством иностранных слов.

— Этот, наверное, напишет лучше всех!— слышал я в толпе завистливые отзывы о нем.

Наконец зазвенел звонок, и мы все уселись за партами по-двое: рядом со мной попал какой-то хорошенький мальчик, еще дитя и школьник, все время стругавший что-то перочинным ножичком...

Вошел учитель русского языка в синем форменном фраке, поджарый, с бородкой и выпуклыми близорукими глазами в золотых очках.

Мы встали. Он криво боднул нам коротко остриженной головой с большим лысеющим лбом и направился к кафедре.

Усевшись, облокотился на кафедру и обвел всех нас через очки своими выпуклыми глазами.

В классе наступила мертвая тишина, каждый из нас уже приготовил лист бумаги, перо и чернила.

— Господа!—раздался тонкий теноровый голос учителя:—вы сейчас же при мне напишете сочинение... Тема дается вам такая: „Польза леса".

Все зашелестели бумагой, заскрипели перьями.

Я долго не мог начать и думал, пока мои соседи уже настрочили по целой странице. Наконец я окунул перо в чернильницу и только что прикоснулся им к бумаге, как посадил огромнейшую кляксу. Бумагу дали

мне „казенную“, скверную, серую, а другого листа не было. Попробовал слизнуть кляксу языком, но от этого только еще больше размазал по бумаге чернильное пятно.

Начавши кляксой, я приступил к „сочинению“; доказывать „пользу“ леса мне показалось скучным, тогда я начал просто описывать лес, тот родной и милый моему сердцу лес, в котором я вырос, и через несколько минут увлекся этим делом; я не заботился о красоте моего почерка, посадил еще две маленьких кляксы, так как чернила были плохи, а я невнимателен к ним, и подал мою работу после всех: учитель, мельком взглянул на мои кляксы, сделал легкую гримасу, но ничего не сказал.

Забрав с собой наши сочинения, он объявил, что на сегодня довольно и что завтра будет устный экзамен, перед которым он и вернет нам наши тетради.

Все гурьбой направились к выходу, оживленно толкуя о „пользе леса“, только я шел с опущенной головой и щемящим сердцем: я боялся за кляксы и за то, что, пожалуй, написал не на ту тему и могу получить единицу, но иначе написать не мог.

На другой день учитель вынес нам тетради, положил их перед собой на кафедру и, взяв из них одну, лежавшую сверху, провозгласил:

— Лучшим сочинением следует признать...

Взоры всех обратились на долгоносого смуглого юношу, да и сам он полупривстал, ожидая, что речь идет о его сочинении...

Но учитель назвал какую-то другую фамилию, которую я не расслышал за поднявшимся легким гулом.

— Кто? кто? Так не этот, не он?.. который?..— гудели кругом, отыскивая глазами автора.

Учитель, с протянутой тетрадкой в руке тоже обводил класс близорукими глазами поверх очков и опять назвал фамилию... мою фамилию!

— Встаньте,—сказал учитель, я же не знаю в лицо.

Я поднялся. Все головы повернулись в мою сторону.

— Вон кто!..—разочарованно загудел класс,—а мы думали, что тот, долгоносый, напишет...

— Возьмите!—сказал учитель, протягивая тетрадь.

Я вышел к кафедре и, краснея, взял мое сочинение. Вслед за мной стали выходить и другие за своими тетрадками. Сейчас же должен был начаться устный экзамен в присутствии директора и всех учителей семинарии.

Все экзамены прошли для меня так легко, меня спрашивали так мало, как мне показалось, что у меня явилось сожаление, зачем я боялся и поставил свечку Николаю угоднику, теперь мне было ясно, что опасности провалиться для меня не было никакой, и свечку ставить не стоило. Я был принят в числе немногих на казенную стипендию, остальные были „своекоштные“ или получали частные стипендии, как например казаки, которые, кстати сказать, отвечали все удивительно плохо.

Последний экзамен был по пению, на котором я тоже выделился: у меня оказались задатки хорошего баса и верный слух. Последний экзамен как раз был в субботу, и поэтому нам было велено приходить в семинарию ко всенощной. Служил наш собственный преподаватель-священник, пел семинарский хор: собралась вся

семинария, кроме нас, новичков, второклассники и третьеклассники, совсем уже взрослый народ — завтрашние народные учителя.

Стоя в толпе за всенощной, я внутренно радовался, что не выброшен на улицу, что эти белые каменные стены все-таки приютили меня.

II.

Поселился я на хлебах в одной комнате с тремя моими одноклассниками у бедной квартирной хозяйки, выпросившей себе нас у директора. Квартира находилась в подвальном этаже, маленькие окна ее были ниже тротуара и в них видны были только сапоги проходящих по тротуару людей; состояла она вся из двух комнат, кроме прихожей и кухни. Комнату побольше с двумя окнами на улицу и двумя во двор занимали мы вчетвером, а в смежной маленькой комнате в одно окно ютилась вся семья хозяйки.

Это была смышленая, энергичная женщина, еще не старая и довольно красивая. Вся власть в семье принадлежала ей. Муж ее—расстриженный дьякон, пел в церковном хору. Это был гигантского роста красивый старик лет под шестьдесят, с длинными почти седыми волосами и окладистой бородой, в потертом сюртуке, говоривший чудовищным литавроподобным басом.

Я узнал, что когда-то он был дьяконом в женском монастыре, а она—монахиней, певшей в монастырском хору, влюбились, и оба были расстрижены: он из дьяконов, а она из монахинь. От первой жены при них жил сын—скромный юноша лет двадцати, работавший наборщиком в типографии местной газеты.

Вся эта семья ютилась в соседней маленькой комнате, где рокотал колокольный бас и целый день звенело сопрано энергичной и красноречивой хозяйки.

Кормили нас на первых порах порядочно, до-сыта, но потом постепенно хозяйка стала сокращать наши молодые аппетиты.

Но мы не унывали. Товарищи были сносные, хотя и мало подходящие для меня: один учившийся вместе со мной в двухклассном училище, неглупый юноша, нелишенный остроумия, но никогда не читавший ничего, кроме учебников, другой—здоровяк, добродушный деревенский парень, ничего особенного из себя не представлявший, зато третий — верзила, нескладеха, сын дьячка, прозванный моими товарищами почему-то Ледором, был так феноменально и безнадежно глуп, что с первых же дней нашего сожительства сделался источником нашего общего веселья.

Длинные ноги Ледора никогда не стояли прямо, а были всегда слегка согнуты в коленях; с лица, обросшего, несмотря на его 18 лет, плохо выбритой бородой, не сходила глупая ухмыляющаяся улыбка. Он был малограмотен, читал чуть не по складам, учиться был неспособен и каким образом сдал экзамен и даже получил казенную стипендию—казалось непонятным. Но вскоре обнаружилось, что этот скудоумный был „любимчиком“ директора.

Многие из лучших, развитых воспитанников семинарии не кончили курса и были „исключены“ по подозрению в политической неблагонадежности, зато Ледор

благополучно прошел весь трехгодичный курс семинарии и впоследствии получил хорошее учительское место.

Мы не предвидели его будущей карьеры и относились к нему юмористически. Шутки моих товарищей над Ледором часто переходили в издевательство, так что я иногда останавливал их. Мне почему-то перешло старшинство в этой компании, да и не мудрено: от их шуток я умел хорошо отшучиваться, а во время совместного приготовления уроков был очень полезен им, в особенности, когда задавали на дом „сочинение“.

Тетрадки моих стихов лежали у меня на столике около кровати, и когда они пробовали читать их, то почтительно удивлялись: им казалось невероятным, чтобы я „сам“ мог это все сочинить.

Хозяйский сын—наборщик, заходивший иногда к нам в своей промасленной блузе, пахнувшей печатной краской, тоже заглядывал в эти тетрадки и вскоре дал мне совет попробовать напечатать что-нибудь в газете, по его словам „у них“ иногда печатают вещи гораздо хуже моих.

— Как же это сделать? к кому обратиться?—спросил я наборщика.

— А к редактору... перепишите на отдельном листочке какое-нибудь одно стихотворение и отнесите ему... самое лучшее на квартиру к нему сходите!..

Я решил в ближайшее воскресенье попытать счастья у редактора.

Как-то зашел к нам один из второклассников—некто Летин: человек с длинными волосами, в красной рубахе и широкополой шляпе, мужчина уже лет двадцати

трех, с синим бритым подбородком и преизрядными усами. Он играл на гитаре и пел тенором:

Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать земли вращенье:
Дурак! зачем он не напился?
Тогда бы не было сомненья!

Это был веселый малый, с любовью говоривший о водке и семинарских „кутежах“ и о швеях, закоторыми он ухаживал, говорил, что учится на тройки, но отзывался об отметках с презрением. Парень был пустой, но чувствовалось в нем что-то вольнолюбивое, широкое, гудящее.

Случайно заглянув в мои тетрадки, он несколько минут читал их про себя и, наконец, прочел вслух одно из моих стихотворений:

...Словно красавица стройная, статная
По небу тихо всплывает луна...
Но погоди: что такое мне чудится?
Где это плачут? ты слышишь ли, брат.
Кто этой ночью святой не любуется?
Кто благодатному часу не рад?

Тут он крякнул и продолжал:

...Словно к могиле за гробом идут...
...Это не плач, это песня мужицкая:
То мужики „про недолю“ поют...
Брат! не любуйся ты ночью прекрасною:
Даром восторги твои пропадут:
Лучше заплачь над страною несчастною,
Где похоронные песни поют!

— Шикарные вещи!—сделавшись внезапно серьезным и захлопнув тетрадку, сказал Летин:—только вы их подальше прячьте!—заметил он мне,—а то неровен час, узнает начальство, нагорит вам!

Я чрезвычайно удивился. Как, за „шикарные“ вещи может „нагореть“? но почему же? а я даже думал показать мои стихи учителю русского языка!

Когда я высказал свое удивление Летину—опытный семинарист расхохотался.

— Чудак вы! святая простота! да разве „об этом“ можно писать? да еще показывать начальству? ха-ха-ха! хотите, чтобы вам перо вставили? или в каталажку? Впрочем, поживете — сами увидите! дайте-ка мне, что у вас есть самое лучшее—почитать! у нас есть тоже поэт—Левковский: я ему покажу!

Я дал Летину мою поэму, заглавие которой было „Кабала“.

Он сунул „Кабалу“ в карман, набросил пальто в накидку, заломил шляпу на бекрень и, потренькивая на гитаре, удалился, напевая:

Скинь мантилью, ангел милый,
И явись, как майский день,
Сквозь чугунные перила
Ножку дивную продень!..
Ночной эфир
Струит зефир,
Шумит-бежит Гвадалквивир!

В воскресенье я чистенько переписал на листочке почтовой бумаги одобренное Летиным стихотворение, свернул его трубкой и, бережно держа листок в руке, чтобы не измять, отправился на квартиру к редактору местной газеты.

Время было послеобеденное, августовский день знойный. Редактор жил на одной из второстепенных улиц. В жарком воздухе неподвижным облаком стояла жел-

тая песчаная пыль. Кругом не было ни души. Все спало. Спал и редактор газеты.

Я не сознавал всей неуместности моего странного появления с моими стихами „о народе“ в этом сонном обывательском городе, где издавалась всего одна крохотная газетка, наполнявшаяся исключительно перепечатками из других газет и полицейской хроникой уличных „случаев“.

Я звонил робко, но долго и настойчиво.

Наконец распахнулось окно верхнего этажа и в нем появилась лохматая заспанная фигура взбешенного толстяка в расстегнутой нижней рубашке. Маленькие глазки его метали молнию.

— Ты от кого?—заорал он, приняв меня, повидимому, за посыльного,—что тебе нужно?

От такого окрика слезы выступили у меня на глазах, я смутился и вспыхнул.

— Я... сам от себя...

— Что тебе нужно?—повторил толстяк, еще более повышая голос.

— Рукопись...—пролепетал я, глотая слезы.

— А на это есть редакция, Дворянская улица, дом семнадцать!—рявкнул он, захлопнув окно.

— Чорт знает что такое!.. шляются!..—глухо доносилась уже из глубины комнаты ругань спящего редактора.

Я воротился домой огорченный. Товарищам ничего не сказал, но наборщику откровенно поведал о своей неудаче.

— Ну, так я сам ему передам!—воодушевился он,—давайте сюда стихи!

Он действительно передал стихи редактору и добился ответа.

Ответ был таков: стихи хорошие, могут быть напечатаны в журнале, но для „нашей“ газеты не подходят. После этой вторичной неудачи я долго не пытался печатать свои стихи, хотя не мог удержаться, чтобы не писать их.

Я недоумевал, почему стихи, годные для журнала, не годятся для газеты, и решил, что редактор посмеялся надо мной.

Еще во время моей сельской жизни я привык много читать, а утвердившись в городе, был уверен, что найду здесь для себя книжное раздолье. При семинарии была довольно большая библиотека, но книги из нее выдавались только раз в неделю: это бы еще не беда, но для „первоклассников“ был определенный каталог, заглянувши в который, я убедился, что в нем для меня не было почти ничего нового или интересного, все „дозволенное“ было уже читано мною прежде, кроме того, лучшие книги всегда ходили по рукам. После нескольких попыток я махнул рукой на семинарскую библиотеку и хотел было записаться в городскую общественную, но оказалось, что семинарское начальство считало это таким страшным преступлением для семинаристов, за которое полагалось „исключение“. Все эти открытия были для меня неожиданны и удивительны.

Тогда я стал ходить по вечерам и воскресеньям в читальный зал общественной библиотеки читать текущие журналы и вскоре пристрастился к этому занятию.

Помню, меня поразил, очаровал и опьянил необычайной музыкальностью рассказ „Лес шумит“, попавшийся мне в свежей книжке толстого журнала, подписанный еще незнакомым мне именем „Короленко“. С тех пор я стал жадно следить за появлением других рассказов этого нового тогда писателя и вскоре же прочел „Сон Макара“. С тех пор этот писатель навсегда покорил меня. Тогда же заинтересовался я и очерками Глеба Успенского, которые появлялись очень часто. Но прежде всего я, конечно, прочитывал печатавшиеся в журналах стихи. Их я читал ревниво, сравнивая со своими стихами, и казалось мне иногда, что многие из них были удивительно незначительны, хуже моих. Все-таки всех этих людей, печатавших свои стихи в журналах, я считал счастливцами, особенными людьми, не такими, как все, и был один из них, стихи которого я сразу же отличил от общей массы стихов, полюбил его, и тотчас же попал под его влияние: каждое его стихотворение производило такое сильное впечатление, что сразу оставалось в моей памяти, и я наслаждался, бесконечное число раз читая стихи его на память. Это был Надсон, только что начавший печататься тогда.

Я бредил его стихами и, увы, от новых моих произведений стало теперь отдавать Надсоном, как прежде отдавало Никитиным и Некрасовым. Но это не смущало меня: я испытывал счастье вдохновения и писал для себя из какой-то непонятной мне самому органической потребности писать. Стихов своих я больше никому не показывал: по рукам семинаристов ходила

только моя старая поэма „Кабала“, которую утащи. у меня Летин и долго не возвращал. Но и эта поэма сделала мне имя среди товарищей и послужила причиной близкого знакомства с наиболее развитыми из них

III.

Семинария наша в то время представляла из себя еще не разрушенный очаг старинных вольностей, завоеванных предыдущими поколениями. Семинаристы все жили на вольных квартирах и держали себя на манер студенчества: в большинстве это были взрослые люди перед тем побывавшие в других учебных заведениях неужившиеся там и попавшие в семинарию как „отбросы“. Но по условиям того времени этими „отбросами“ часто оказывались наиболее развитые, вольнолюбивые и даже „замешанные в политику“ и за это „исключенные“; все они в конце своих мытарств попадали в учительскую семинарию и вносили сюда дух независимости и свободы. Некоторым из третьеклассников было лет по двадцать пять, по двадцать семь, а казаки, державшиеся сплоченной корпорацией, усачи, басы и кутилы с военной выправкой, сыновья казачьих сотников и полковников, люди со средствами, по образу жизни скорее походили на гусаров, чем на семинаров: они ходили в театр в первые ряды партера, одевались лучше учителей, всегда имели деньги, часто устраивали попойки, на которых варилась „жженка“, с учителями разговаривали „по-товарищески“, а учи-

еля, как мне говорили, еще в самом близком прошлом, частвовали в ученических „пирушках“.

Семинаристы другого пошиба составляли какие-то ружки, собирались на общие чтения, водили знакомство с курсистками фельдшерских курсов, все ходили штатском, ничьего надзора за собой не знали.

Но теперь всем этим „вольностям“ наступил конец: на „распущенность“ семинарии было обращено внимание, и принимались меры, чтобы „подтянуть“ семинарскую вольницу: всего только за год до моего поступления был сменен ее прежний либеральный директор Адиясевич, о котором с любовью и уважением вспоминала теперь семинария, и на его место прислали теперешнего директора по фамилии Нурминского, который и принялся за дело „подтягивания“ семинарии: прежде всего он начал „исключать“ наиболее взрослых и не поддававшихся „новым“ порядкам. В результате была публичная пощечина, полученная им от исключенного с двойкой за поведение казака Хохлачева тотчас же по вступлении Нурминского в должность. Об этом событии рассказывали так: получивши „волчий билет“, Хохлачев принес в канцелярию казенные учебники, подлежавшие возвращению и, встретивши там директора и учителя русского языка Щеглова, сказал им:

— Вот вам учебники, а вот благодарность!

После чего развернулся и так ударил директора кулаком, что тот упал на пол вместе с креслом, в котором сидел. Второй, не менее сильный удар получил Щеглов, вылетевший кубарем в смежную комнату и долго по ней катавшийся. Поднявшись, Щеглов выбе-

жал на улицу и стал кричать „караул“. Хохлачев ту
же был арестован и отведен в участок. Суд последо
вал строгий и немилостивый: казак был судим без уча
стия присяжных при закрытых дверях и сослан в Си
бирь на вечное поселение. Теперь, по известиям, до
ходившим от него, Хохлачев добывал средства к жиз
ни в Сибири тем, что „пас свиней“.

Мне показали и портрет этого семинарского „героя“
с фотографии смотрело добродушное лицо здоровяка
большими, как жгуты, черными хохлацкими усами. Ха
рактеристика его была такая: обыкновенный казак, ка
и все они, не очень умен, не очень развит, люби
товарищеские кружки, но, главным образом, был доб
рый парень и хороший товарищ. Поступок его не вс
находили умным, но во всяком случае это было отча
янное сопротивление широкой и вольной натуры, при
выкшей к дикой свободе.

Казацкие же вольности наши отбирались теперь одн
за другой, и я попал в семинарию в самый разга
борьбы за вольности, разгар свирепых репрессий и бес
пощадной реакции „нового веяния“, жертвой которог
и сделался в первую очередь в числе многих других
показавшихся начальству „подозрительными“ тольк
тем, что учились лучше, чем следовало, и серьезно стре
мились к знанию.

Но об этом—впереди.

Подлинных знаний семинария давала очень мало
оценку этому я на первых же порах прочел на стен
курительной комнаты: по старым „вольным“ тради
циям курение у нас не только дозволялось, но была да

е курительная комната, смежная с отхожим местом, ткуда на всю „курилку“ шел бурный запах, от которого у нас болели головы: я не курил, но в курилке ывал во время перемен, так как она служила любиым местом, где происходили собрания и произносились речи. Стены этой комнаты были испещрены эпиаммами, афоризмами, датами семинарских событий и . п. Из числа эпиграмм была одна такая:

Дорогое мое заведенье!
Ухожу я с душевною болью:
Ты, ведь, нас-то взамен просвещенья
Угощало сортирною вонью!..
Петр Гусев.

Об этом Петре Гусеве, исключенном за „неблагонадежность“, третьеклассники рассказывали всем классом; впоследствии я с ним встретился за стенами семинарии и близко познакомился: это был действительно незаурядный человек, игравший тогда уже роль руководителя в революционных кружках молодежи.

Из „бывших семинаристов“, исключенных „за политику“ и оставшихся в городе под гласным и негласным надзором полиции, были и еще люди, о которых мне говорили с таинственным видом, как об „опасных“, за знакомство с которыми „исключают“. Впоследствии мне пришлось встретиться и с ними, и я убедился, что для „бывших семинаристов“ это были очень образованные люди и, конечно, образование свое они получили не в стенах семинарии, а „сами“, путем самообразования и „кружковщины“. Прежний директор не мешал ей, но теперешний только борьбою с ней и занимался.

Прошлое семинарии, создавшее таких развитых се минаристов, было славным, но уже облекалось леген дой, и теперь, с появлением нового директора, нас хо тели лишить всякой связи с ним, ограничив наш образование скромной программой „низшего“ учебног заведения, к разряду которых принадлежала учитель ская семинария, да хождением ко всенощной и обедн по праздникам, что вменялось в строжайшую обязан ность. Введены были правила не выходить из квартир вечером позднее девяти часов, а за соблюдением этих правил должны были следить классные наставники.

Таким образом прежние „товарищеские“ отношения с преподавателями были испорчены: вместо них яви лась взаимная подозрительность и плохо скрытая вражда.

Хуже всего было то, что это были те же самые учителя, которые при старых порядках либеральничали во-всю и даже участвовали в семинарских домашних вечеринках.

Это были не плохие люди и не плохие учителя, но „страха ради Иудейска“ вынуждены были держать но вый курс. Некоторые, посамостоятельнее, еще не со всем порывали с прошлым, а некоторые, как учитель русского языка Щеглов, проявляли по отношению к директору черты угодничества и старания, что простодушный, но правдивый и решительный Хохлачев и отметил на его физиономии пощечиной, не пожалев себя.

В момент поступления моего в семинарию злым гением ее был директор Нурминский. Он успел в самое короткое время возбудить во всех нас жгучую и непримиримую ненависть.

Это был приземистый, плотный мужчина с круглым брюшком, с бритым подбородком и полуседыми бакенбардами в форме котлет. Голос у него был необыкновенно тонкий и писклявый, как у бабы, и говорил он „вятским“ говором, с очень сильным ударением на „о“. Никогда не улыбался; маленькие свиные глазки его всегда смотрели хмуро и ничего не выражали.

Преподаватель он был плохой, скучный, мертвенный, читал по учебнику и задавал „от сих до сих“. Он преподавал анатомию, педагогику и логику. Заставлял зубрить слово в слово, и поэтому по его предметам никто ничего не знал и не желал знать. Когда он входил в класс в своем синем форменном фраке и с круглым своим брюшком, с книгой и журналом в левой руке, усаживался за кафедру на весь час и, ни на кого не глядя, начинал читать монотонным бабьим голосом—всем нам становилось тошно от скуки: хотелось спать.

Отвечали ему урок прямо по разложенной на парте книге, и он делал вид, что не замечает обмана, а, может быть, и действительно не замечал, так как следил во время ответа по учебнику. Если же кто пытался отвечать урок своими словами, прерывал его одною и тою же фразою:

— Ну, вот и не знаешь!.. вот и дурак!.. вот и садись!..

И ставил двойку.

Учителя обращались с нами на „вы“: директор всем говорил „ты“. При случайных встречах всегда делал какое-нибудь замечание.

— Петров!—сказал он мне при первой же встрече в коридоре, когда я однажды только что вышел с улицы и наткнулся на директора:—ты что это пальто на пуговицы не застегиваешь? вот!

— Жарко!—объяснил я его любознательность, не зная, что мне следовало испугаться.

Отсутствие испуга не понравилось во мне директору, он не взлюбил меня с этой же минуты.

Иногда ни с того, ни с сего придирался:

— Ты что это у всенощной не был?—испытывал он меня, хотя я, так как это строго карается, никогда не пропускал церковных служб.

— Я был.

— Ну—у обедни не был!

— И у обедни был.

— Ну—врешь! вот!—и проходил мимо, не ожидая дальнейших возражений.

В этом же стиле разговаривал он и со всеми остальными „воспитанниками“.

Казалось, он заботился только об одном: чтобы мы исправно посещали церковь, как можно меньше знали и находились бы в беспричинном страхе.

В церковь мы ходили, страх к нему испытывали, „наук“ семинарских не знали, но зато пламенно ненавидели и его и церковь, а знаний искали на стороне. Теперь для нас было ясно, почему он любил идиота Ледора, неспособного ни к каким знаниям: это для нашего директора был идеал и образец будущего „благонамеренного“ народного учителя.

Ближайшим лицом к директору считался учитель русского языка Дмитрий Павлович Щеглов: это был человек ловкий, скользкий, державший „нос по ветру“, при прежнем либеральном директоре и он был либерал, при Нурминском—извивался между директором, перед которым явно заискивал, и семинарской „громадой“, которой после пощечины побаивался. Семинаристы его ласковому обращению не доверяли и не были откровенны с ним, считая его способным на „доносы“ директору.

Вероятно, прежде он был хорошим преподавателем, но теперь, поняв, что дело не в этом, занимался спустя рукава и только иногда, в виде поблажки, вместо скучного урока, артистически читал нам Островского: у него был несомненный актерский талант, да и в жизни он постоянно актерствовал и притворялся; это был талантливый, но слабый и трусливый, поверхностный, мелкий человек, тщеславный карьерист, быстро, без борьбы научившийся „новому курсу“ и начавший „подслуживаться“ из позорного, рабского, шкурного страха; при других обстоятельствах он мог бы быть иным, даже любимым нами, но теперь его едва терпели, понимая и слегка презирая.

Нашим классным наставником был учитель математики Гурий Матвеевич Вишневский или просто „Гуряшка“, как мы его в разговорах между собой называли. Это был плотный блондин с курчавой белокурой бородой, с природным добродушием, которое, впрочем, могло переходить в гнев разъяренного быка, когда дело касалось его собственного „чрева“.

Свой предмет он любил и увлекался им, преподавал он еще физику и по воскресеньям любил показывать нам физические опыты, которыми тоже увлекался. Преподавал естествоведение и тоже с увлечением, в забывчивости описывал все органы: питания, пищеварения и размножения.

Несколько лет составлял свой собственный учебник арифметики, и когда, наконец,—уже я был во втором классе,—кончил и сдал в типографию, то каждый день с трогательной авторской наивностью и нежностью к своему детищу сообщал нам, который лист печатается.

При прежнем директоре панибратствовал с семинаристами, участвуя в их домашних попойках, даже напивался и произносил революционные речи. Теперь было не то. Гурий как-то отдалился от семинаристов, а впоследствии, как мне пришлось убедиться по личному опыту, подвергал своих воспитанников полицейскому допросу.

Наибольшими симпатиями всех семинаристов пользовался учитель истории и географии Стефанович. Это был человек чрезвычайно мрачного вида, высокий, с черной окладистой бородой, густыми нависшими бровями, хмурым взглядом и суровым выражением довольно красивого лица. Говорил угрюмо, сумрачно, густым грубоватым басом. Но за этой суровой внешностью мы скоро угадали доброго, вдумчивого, быть может, незаурядного человека.

Он вникал в положение своих учеников, к нему можно было сходить на квартиру и объясниться по поводу какого-либо недоразумения из-за отметок или

экзаменов. На педагогическом совете он всегда являлся защитником учащихся и не боялся противоречить директору,—это было известно. Дома он как-то преображался, даже что-то в роде улыбки появлялось у него из-под широких нависших усов и какой-то скрытой, глубокой добротой веяло от этого странного, печального человека. Казалось, что он всегда думал о чем-то своем или скорее мечтал о чем-то тяжелом и большом, словно скрыт был в нем какой-то другой, интересный человек. Впоследствии, когда семинария наша была совсем уничтожена и его перевели в другую, я слышал, что Стефанович сошел с ума.

Преподаватель он был великолепный: это был единственный из наших учителей, у которого можно было учиться систематическому изложению мыслей. Излагая историю, он никогда не пересказывал фактов, с которыми мы могли сами ознакомиться по учебнику, но передавал дух и смысл событий. Иногда, когда он, видимо, бывал в ударе, говорил так, что весь класс слушал его, затаив дыхание, боясь проронить слово.

Мне пришла счастливая мысль записывать то, что он говорил, тут же в классе, вслед за ним, схватывая главную мысль каждой фразы и отмечая ее на бумаге одному мне понятными отрывочными словами.

У меня была тогда очень хорошая память, так что, придя домой, я под свежим впечатлением по этим своим запискам как по вехам, восстановлял всю его лекцию слово в слово, почти стенографически.

Когда мне приходилось отвечать урок по истории, я, как граммофон, выпаливал слово в слово всю его

лекцию, сказанную им месяц или более назад. Никто не был к этому способен кроме меня, так как все знали только то, что было напечатано в учебнике и не знали секрета моего фокуса: все—в том числе, вероятно, и учитель—думали, что у меня феноменальная память. Во всяком случае учителю было лестно видеть, что у него есть хоть один ученик, для которого не пропадает даром то самое задушевное и заветное, что, казалось, так бесплодно расточал он перед нами и ради чего быть может учительствовал.

В конце концов стало заметно, что, рассказывая в классе урок истории, он невольно обращается ко мне, как будто учит одного меня, при свидетельском присутствии остальных учеников.

Раз в месяц он задавал нам на дом сочинение по истории, всегда на очень серьезную и трудную тему. И опять я один из всех догадывался достать из библиотеки соответствующий том истории Шлоссера, изучал тему, и, набравшись премудрости, подавал обстоятельную диссертацию, недосягаемую для учеников первого класса учительской семинарии. По истории я был у него первым, и можно сказать, единственным учеником. По географии преподавал помимо учебника. Учебник вызывал у всех нас досаду, потому что он отличался пребессодержательным пустословием, а между тем все это надо было заучивать и помнить. Поэтому я применял тот же метод записывания, и кончил тем, что оставил учебник географии совершенно неразрезанным, считаясь только с тем, что говорил в классе учитель. И однажды пострадал за это: уверенный во мне, Стефанович как-

то неожиданно вызвал меня к карте. Урок был, как сейчас помню, о Скандинавском полуострове, о котором он почему-то не говорил, следовательно, я должен был отвечать по учебнику, в который никогда и не заглядывал. Я постыдился в этом сознаться ему и начал бессовестно врать, импровизируя все, что знал о Скандинавии из беллетристики, а чего не знал—по аналогии и внезапному вдохновению. Речь моя лилась так самоуверенно и гладко, с такой повышенной экзальтацией, что учитель даже и не слышал меня, отмечая что-то в журнале. Все могло сойти с рук, но меня погубило слово „дичь", когда я с пафосом заявил, как много „дичи" в великолепных скандинавских лесах. На этом слове весь класс, с любопытством слушавший мою беллетристику, не выдержал и густо грохнул дружным смехом. Стефанович поднял голову и начал вслушиваться в мою „дичь". Я был уличен в полном незнании того, о чем говорю, пристыжен и отправлен на место с пожеланием заглянуть в учебник. Отметки мне за этот урок он никакой не поставил.

Был у нас еще один хороший учитель: священник отец Маслов, академик, магистр богословия, человек высокого богословского образования и блестящего ораторского таланта. Говорили, что когда-то, еще до своей преподавательской деятельности, он страдал сумасшествием, а по излечении попал в наш город. Он был немножко туг на ухо и говорил тихим, глухим голосом. Входил в класс медленной поступью, как будто боясь оступиться, и ни на кого не глядя. На нем всегда была скромная коричневая ряса, длинные волосы и

широкая длинная борода с проседью аккуратно расчесаны. Тихий, печальный голос его, как голос привиденья, доходил как бы издалека, глаза смотрели тускло, и весь он как бы прислушивался к своим собственным мыслям. Он никогда не сидел за кафедрой, а всегда сам вытаскивал кресло, ставил его среди класса, садился в него и так говорил, не вставая, во время урока. И тогда лилась его речь, красивая, стройная, всегда захватывающая, короткие, сдержанные жесты его были красивы и выразительны, глухой голос крепнул и звучал внятно и в каждом слове чувствовалась какая-то особенная, внутренняя сила. Мы все никак не ожидали, что так заинтересуемся священным писанием, а между тем он это сделал, поднимая интересные, жгучие религиозные вопросы, заставляя нас думать над ними и разрешать их вместе с ним в живой беседе. Он вскрывал перед нами противоречие священного писания, наводил на атеистические сомнения, которые без него многим из нас никогда бы и в голову не пришли, но в заключение, конечно, блестящим образом их разбивал и, примиряя религию с государством, бессмыслицу с здравым смыслом, казалось, ничего не оставлял от кажущихся противоречий и сомнений.

Не знаю, какие были его истинные цели, но результат получался обратный: из его софистики в наших головах крепче застревали сомнения и отрицания, а то, чем он разбивал и рассеивал их—отскакивало от нас. Таким образом священник под флагом борьбы с атеизмом сеял в наших душах атеизм, приучая „критически мыслить“, чем и вызвал у нас необыкновен-

ный интерес к „закону божию“, который до того все мы считали самым скучным предметом.

Остальные три учителя: чистописания, рисования и столярного мастерства представляли из себя комический элемент.

Учитель чистописания Игумнов был на диво глуп и забавен: шепелявил и ходил смешно, переваливаясь, как утка. Брюки у него всегда были расстегнуты. Иногда он пытался читать нам „методику чистописания“ по маленькой тоненькой книжке, сидя за кафедрой; когда же ему казалось, что он может говорить и без книжки, прохаживаясь по классу, то обнаруживалось, что он и сам ничего не знает, и тотчас же приходилось бежать к кафедре и читать по книге, не рискуя более вставать с кафедры. В чернильницу этой кафедры к его приходу всегда прибавлялось немножко песку, чтобы перо не писало у учителя чистописания. Он служил всему классу развлечением после серьезных уроков. Так как ему и самому было скучно читать никому ненужную „методику“, то он охотно шел на наши с виду невинные заигрывания по части отвлеченных разговоров. Мы узнали его слабую струнку: Игумнов любил поговорить о внешней политике, которая в его передаче превращалась в смехотворные карикатуры, в особенности презирал он почему-то немцев, говоря, что „у них только и есть, что Бисмарк, а больше и нет умных людей“.

— А у нас?— невинно спрашивали его.

— У нас? у нас —Победоносцев!—шепелявил Игумнов,—у нас... да мало ли у нас?

Озорники пресерьезно поддакивали ему с единственной целью: избавиться от методики чистописания. Впоследствии, когда мы тайно от учителя завели свой рукописный семинарский журнал, я писал там фельетоны под общим заглавием: „Политика“, где описывал разговоры с Игумновым. Эти сатиры казались всем моим товарищам до того смешными, что, читая их, они хохотали до слез. Написал я, помню, и стихи в честь этого учителя, представлявшие пародию на лермонтовские „По синим волнам океана“, в которых описывалось пришествие Игумнова в класс. Там были между прочим такие строки:

...„И молча в открытые брюки
Застежки наивно глядят“.

И потом:

...В чернила у кафедры этой
„Врагами“ насыпан песок.
Лежит на той кафедре книга,
Чтоб с кафедры встать он не мог.

Учителем рисования был бедный старый художник с длинными седыми волосами и почтенной седой бородой, фамилия его была Леплинский. Ходил он всегда в старом сером сюртуке и грязной рубашке, ворчал на нас и называл „мошенниками“. Это был добрый и уже дряхлый старик, повидимому, очень нуждавшийся и презираемый директором за бедность. Ученики его в грош не ставили и позволяли себе по отношению к этому беззащитному старику возмутительные школьнические выходки, в роде навешивания бумажек на задние пуговицы его сюртука. Против этого некоторые из нас с негодованием восставали, а после моей статьи в журнале в защиту Леплинского и совсем прекратились,

в сущности против него никто ничего не имел, но на нем, как это всегда бывает, вымещали то раздражение, которое накопилось против других учителей.

По рисованию я мог бы быть первым учеником, так как рисовал с раннего детства и теперь мог рисовать портреты с натуры. Все в классе это знали, так как мои карикатуры ходили по рукам, но так как Леплинский заставлял нас рисовать только кубики и конусы, а я рисовал их небрежно, то и считался у него, к забаве всего класса, самым плохим учеником. Кроме двойки, он не ставил за мои рисунки никаких других отметок. Но к годовому экзамену он задал нам каждому по собственному выбору сделать экзаменационный рисунок. Я выбрал самый трудный: сделал копию с рисунка, представлявшего голову монаха в капюшоне, и нарисовал очень удачно. Никто, кроме меня не взялся за этот рисунок, только один попытался было, но у него вышла такая перекошенная уродливая морда, что Леплинский, посмотрев его работу, плюнул и рассердился:

— Как вам не стыдно? Петров — и тот нарисовал!

Ученики рассмеялись. Так мой талант рисования и остался неузнанным для учителя.

Три раза в неделю у нас были вечерние занятия для обучения ремеслам: столярному и переплетному; этими ремеслами я еще дома занимался и мог быть посредственным столяром и переплетчиком, но здесь в этих искусствах не подвинулся ни на шаг, так же как и все мы, вследствие лености учителя, Григория Антоновича, фигуры глубоко-юмористической и оригиналь-

ной. Это был худощавый, небольшого роста, человек в пиджаке и косоворотке, с козлиной бороденкой, от которого разило необычайной самоуверенностью и самовлюбленностью. Красноречие было его страстью, говорил он оригинальным витиеватым слогом с вверты-ванием некстати забавно перевранных иностранных слов и всяких словесных закорюк. Он любовался своим слогом, желая показать семинарам свое знание самым мудреных и закомуристых для него слов. Неистощимой темой для красноречия Григория Антоновича служила охота: он был страстным охотником и мог говорить об охоте без конца; в охотничьем вранье он доходил до невозможных пределов. Так как ремесла почти никого не интересовали, кроме единичных любителей, то, зная слабости Григория Антоновича, его заводили на охотничьи рассказы, в слушании которых и заключались наши вечерние занятия в подвальном этаже семинарии, где находилась мастерская.

Был у нас еще учитель пения—церковный регент Александр Павлович Тарасеев. Высоко-талантливый дирижер, профессор этого дела, музыкант, в совершенстве знавший церковную музыку, серьезный, первоклассный регент, в мире церковного пения он имел почетное, известное имя.

Кроме того, он славился тяжеловесным, глубоким чисто-хохлацким остроумием.

У него было оригинальное, какое-то „варяжское" лицо, напоминавшее портрет древнего князя Святослава, из черепа которого печенеги сделали кубок: прямой нос с небольшой горбинкой и свешенные вниз длинные усы,

Большой череп, всегда коротко остриженный, а на макушке чуб. Чувствовалось в нем величайшее презрение ко всем вообще людям, через головы которых он и смотрел на мир, никого к себе близко не подпуская. Казалось, что ему и самому тяжело носить в себе груз каких-то непонятных сил, не нашедших исхода и приложения. Говорили, что он много пьет, в одиночку, дома, и что вино на него совершенно не действует; ни пьяным, ни даже слегка выпившим его никто никогда не видал.

На первом уроке пения он стал пробовать наши голоса и выбрал в семинарский хор всего только троих из нашего класса; оказался один хороший тенор и два баса: я и хромой казак Петриченко, человек с замечательно безобразным лицом, но приятным, низким басом.

Пение я любил и прежде, а теперь чувствовал, что у меня открывается хороший голос: когда я пел на уроке—весь класс одобрительно улыбался, а потом перед уроком многие даже просили меня „хватить“ на уроке верхнюю ноту. Но „мыслящая“ часть моих товарищей, к кружку которых я вскоре примкнул, считала „не идейным“ учить уроки по церковному пению; чтобы не отстать от них, и я не стал учить нот, задаваемых на дом Тарасеевым. Тарасеев это заметил и однажды после урока позвал меня „в кабинет“.

— Що?—насмешливо сказал он мне своим хохлацким акцентом,—опять сегодня „наклали“? Напрасно не учитесь; неизвестно еще, удастся ли вам кончить семинарию, а у вас может в будущем развиться голос, може пение-то будет вам—хлеб? Подумайте!

Проклятый хохол словно напророчил мою судьбу через два года я был исключен и пришел к нему ж проситься в хор.

— Що?—иронически встретил он меня тогда,— гово рил я вам?

Тарасеев заведывал чуть ли не пятью церковным хорами в городе, при чем на спевки под его управле нием они собирались все вместе. На одну из подобны спевок, устроенную почему-то в нашей семинарии, од нажды попали по приказанию Тарасеева и мы с Пет риченко.

Как сейчас помню, мы несколько опоздали на спевку и когда вошли—могучий хор пел что-то пианиссимо должно быть, „херувимскую“; спевка происходила нашем классе, так как это была самая большая ком ната в помещении нашей семинарии. Комната был наполнена четырьмя толпами громадного хора: четыр партии басов, теноров, дискантов и альтов по углам комнаты пели по нотам; весь воздух большого и вы сокого зала звучал.

Войдя, мы остановились у дверей и слушали в ожи дании перерыва.

Никогда еще до этого не слыхал я такого пения и таких голосов. Посреди комнаты перед пюпитром стоял Тарасеев с опущенной скрипкой в одной руке и поднятым смычком в другой, величественно и плавно дирижируя. По временам он грозно и напряженно взгля дывал то на одну партию, то на другую, одним этим взглядом и выразительным движением смычка то умеряя, то усиливая звуки. Он как бы держал в руках неви-

имые поводья и властно угнетал и обуздывал стону-
ую и мощную, но покорную стихию звуков; необычайная
ила внушения исходила от его святославовой фигуры и
илась из грозных, повелительных глаз, и видно было,
то вдохновенный хор с восторгом подчинялся ему и
ес его, подобно фантастическому гигантскому коню, по-
уявшему на своем хребте достойного повелителя.
Ближе всех к нам стояла в два ряда басовая партия—
человек двадцать пять, с напряженными лицами и гла-
ами, устремленными в ноты, испускающая густой и
плошной металлический звон.

Но весь хор подавлял и как бы поглощал в себе
дин голос, страшно густой и низкий, грохотавший
твердым и тяжелым чугунным грохотом.

Этим невероятным голосом пел в октаву басам че-
овек, стоявший отдельно от всего хора в переднем
углу, картинно опираясь спиной и локтем на стоявший
там всегда аналой и закинув одну ногу на другую. Это
был человек лет тридцати, мужественной наружности,
высокий, с темной подстриженной бородой, с большим
лбом и густыми кудрями до плеч, закинутыми назад.
Широкий воротник голубой атласной рубашки был у
него выпущен по плечам поверх пиджака и завязан
толстым шелковым шнуром с большими кистями. Он
мне показался похожим на портрет Шекспира.

Голос его плыл, как густая расплавленная лава, или
словно чугунное бревно вылезало из его глотки и ка-
тилось, грозя прижать слушателя к стене и раздавить
своей страшной тяжестью. Это был не голос человека,
а какая-то стенобитная машина—таран. Я невольно

улыбнулся, ничего подобного до этих пор я не только не слышал, но даже не представлял, чтобы возможен был такой чудовищный голос у человека.

Наружность певца мне понравилось: оригинальная, „шекспировская“ голова, интеллигентное, привлекательное лицо.

Это был Николай Иванович Ильин, легендарный певчий, человек во многих отношениях необыкновенный, как необыкновенен был и голос его.

Я с ним познакомился и близко сошелся только через несколько лет после этой встречи, когда и сам попал в певческий мир. Он стоял выше своего мира на несколько голов, и я, прежде чем встретиться с ним, много наслушался от певчих рассказов о его сказочной физической силе, необыкновенном голосе, легендарном пьянстве, симпатичных свойствах души и оригинальной, интересной, несчастной судьбе.

О нем мне еще придется говорить в будущих очерках, но теперь, вспоминая семинарию, я не могу забыть это первое впечатление, когда я издали увидел первого необыкновенного человека.

Заканчивая портретную галлерею учителей семинарии, я могу повторить и теперь, что за некоторыми исключениями это не были ни плохие учителя, ни плохие люди, если не говорить о директоре. Но, именно, подчиняясь директору, который в свою очередь являлся тупым и жестоким орудием „веяния сверху“, эти люди не только не дали нам тех скромных знаний, за которыми мы пришли в семинарию, но отняли у нас драгоценное время, притупили способности, озлобили душу,

а наиболее даровитым из нас искалечили жизнь, исключив нас с клеймом отверженных, с печатью „политически-неблагонадежных“, и так „замарав“ наши документы, что мы никому их не могли показать и должны были продолжать существование лишенных всех прав в условиях истинно каторжной жизни.

Такова была судьба Ильина, исключенного из 6 класса духовной семинарии „с единицей поведения“, послужившей первопричиной всех дальнейших неудач его несчастной жизни. До сорока лет застрял он в певчих, пока не пропил свой колоссальный голос; подобно ему, и я впоследствии попал в певчие, где тоже научился пить и едва не погиб, бесплодно потеряв лучшие годы своей жизни. Мне и теперь, через тридцать лет, все еще снятся иногда во сне семинария, строгий ненавистный директор, нудные учителя и экзамены, на которых я ничего не знаю, проваливаюсь и... просыпаюсь с тяжко бьющимся сердцем...

Стоило ли?..

IV.

Зимой, по первопутку я перебрался на новую квартиру, к новым товарищам, с которыми близко сошелся: это был тесный кружок „мыслящих“ заправил семинарии, лучших учеников, двое из них были третьеклассники, кончившие семинарию, и двое мои одноклассники; один из них был тот самый длинноносый говорун, выделявшийся на приемном экзамене, о котором думали, что он лучше всех напишет сочинение. В шутку кто-то в классе за его комическую наружность назвал его Климом, и все его стали так звать, хотя имя его было другое. Он оказался довольно начитанным и развитым

парнем, и мы с ним подружились. Другой был солидный мордвин с большой кудрявой головой, учившийся лучше всех по математике, человек глубокомысленный и рассеянный; его все мы с оттенком насмешки звали по имени и отчеству: Петр Андреевич. Обоим им было по семнадцати-восемнадцати лет.

Третьеклассники оба носили усы. Один из них— Василий Максимович—молодой человек небольшого роста, но крепкого сложения, с густыми усиками и уже пробивавшейся бородкой, верховодил нами; происходил он из настоящей крестьянской семьи, его мать и бабушка— простые деревенские бабы—жили тут же; именно они-то и держали нас в качестве нахлебников, изготовляя обед на деревенский лад.

Другой третьеклассник, имя которого я теперь позабыл, — бледный молодой человек с горбатым носом и небольшими усиками — был очень молчалив, держался особняком и жил в отдельной, маленькой темной комнате без окон, где стояла его койка, маленький столик, лампа и висела гитара, на которой, запершись в своей каморке, он вечно бренчал, фальшивым голосом распевая тогдашние „идейные“ романсы, в роде „в полном разгаре страда деревенская“ и проч.

Мы все четверо занимали переднюю комнату маленького деревянного домика с тремя окнами на улицу, разделенную пополам аркой. Кровати были только у Василия Максимовича и у меня, остальные спали на полу вповалку на войлочных матрацах, свертывая и убирая их утром.

Кормили нас очень неприхотливой пищей, которой я не мог наедаться, хотя ее и хватало всем за обедом и

даже оставалось на ужин; мои товарищи ели с аппетитом, но я часто вылезал из-за стола голодный, почти не прикасаясь к пище, так как обед был всегда один и тот же и опротивел мне однообразием; это происходило вряд ли от экономии хозяек, а скорее от их неумения готовить; в моей семье все-таки ели лучше, и мать моя готовила опрятнее, чем это делалось в крестьянских семьях. От систематического недоедания за два года жизни на этой квартире я впоследствии сильно исхудал и из румяного деревенского юноши превратился в длинного, бледного, „протяженно-сложенного“ вечно голодного семинариста.

Да и то сказать, получая по десяти рублей в месяц казенной стипендии, мы платили за хлеб по девяти рублей с человека, при чем два раза в день пили чай с калачом, имели обед и ужин; даже при тогдашней старинной дешевизне всего — это была все-таки семинарская дешевка, и рассчитывать на разносолы не приходилось.

Рубль в месяц оставался у меня в полное мое распоряжение. Впрочем, отец присылал мне иногда три рубля, правда, далеко не каждый месяц, но и расходов у меня было немного: стирка белья и баня. Остальное я тратил на театр, куда мы все ходили, конечно, на галерку, за двадцать копеек.

В ту зиму в наш город приехал на гастроли знаменитый тогда артист Андреев-Бурлак. Мы не пропустили ни одного его спектакля и, конечно, страстно увлеклись театром. Он играл в старом, маленьком городском театрике, знакомом мне еще с детства, где я бывал за кулисами

и выступал на сцене, когда был маленьким певцом и музыкантом в „Александровском садике“.

Андреев-Бурлак произвел на нас громадное впечатление. Первый спектакль, в котором мы его увидали, была забытая теперь довольно плохая пьеса Потехина: „Чужое добро в прок нейдет“.

Когда он появился на сцене в гриме лядащего мужичонки и заговорил сиповатым голосом, я был слегка разочарован, ожидая увидеть величавую знаменитость: вместо актера на сцене был самый настоящий, живой мужичонка, невзрачный на вид, но охваченный сильною страстью. При одном его монологе и публика испугалась воображаемой тройки, о которой говорил мужичонка, и шарахнулась прочь: такова была власть таланта.

Видели мы его в роли „Любима Торцова“ и в роли „Аркашки“, но самое сильное впечатление получили, конечно, от „городничего“. Увлечение театром привело нас к тому, что мы и сами стали представлять дома шуточные комедии экспромтом, а потом написанные мной сценки. Помню, с особенным весельем шла у нас домашняя пьеса: „Эсфирь и Мардохей“ на библейскую тему, где прекрасную Эсфирь играл Клим, одетый в костюм, похищенный у бабушки, а я изображал библейского царя. Во время этих игр у Клима обнаружился несомненный актерский талант комика. Он даже недурно имитировал Андреева-Бурлака в его излюбленных ролях. Кроме того, мы устраивали совместные чтения, при чем всегда читал Клим, а мы слушали. Книги доставлял нам Василий Максимович, получавший их каким-то

путем из публичной библиотеки, а также и еще откуда-то, в чем он руководился какой-то системой. Мы прочитали вслух всего Виктора Гюго без участия в этом чтении Василия Максимовича, часто уходившего со своим товарищем куда-то по вечерам, и „Историю французской революции“ с его участием, при чем на остановках он произносил перед нами речь—говорить он умел зажигательно. Прочли мы „Спартака“, „Один в поле не воин“, „Два брата“ Станюковича и „Знамение времени“ Мордовцева. По поводу прочитанного завязывались бесконечные споры и разговоры. Читали „Обломова“ и „Очерки бурсы“ Помяловского, из которых, к сожалению, тотчас же усвоили бурсацкие словечки и загибание салазок друг другу. Познакомились с Базаровым и Рудиным, горячо спорили о них и, наконец, добрались до сочинений Писарева и Чернышевского. Вырабатывалось миросозерцание ярко-революционного характера: „Сказки“ Щедрина сделались у нас любимой и задушевной книгой. В подражание Щедрину начал писать „сказки“ и я, откровенно направленные против нашего директора. Они имели успех. Списки их стали ходить по рукам. Отсюда, естественно, мы пришли к мысли об издании журнала. Рукописный журнал наш „Семинарист“ стал выходить периодически раз или два в месяц, смотря по материалу. В нем были статьи, рассказы, стихи и карикатуры.

Сначала в журнале писали многие, но потом охладели, и вскоре остался почти один я, выступая под разными псевдонимами, с рассказами, стихами, фельетонами и карикатурами. Наибольший успех имели сатирические рассказы, сказки и сделавшийся знаменитым отдел

„Политика“, читавшийся нередко в „курилке“ при взрывах веселого смеха.

Вскоре журнал наш стал известен за пределами семинарии, его читали и в других учебных заведениях: гимназисты, реалисты, духовные семинары, но, главным образом, курсистки фельдшерско-акушерских курсов, с которыми наши семинары водили близкое знакомство.

Наконец журналом заинтересовались и какие-то таинственные руководители молодежи, серьезные люди, доступ к которым был облечен опасностью и тайной.

К этому времени Василий Максимович настолько распропагандировал нашу компанию и настолько был уверен в нас, что стал давать нам нелегальную литературу: подпольную газету „Народная Воля“ и брошюры в роде „Хитрой механики“. Мы были польщены и стали считать себя „кружком саморазвития“. Организовали общую кассу, в которую вносили по тридцати копеек в месяц на приобретение книг для библиотеки „нашего кружка“.

Под впечатлением подпольной литературы настроение у нас было героическое, и я писал тогда революционные стихи. Мы все тогда, не задумываясь, с радостью и гордостью могли бы пойти на смерть, если бы это было нужно. Правда, природное литературное чутье подсказывало мне, что подпольная литература плохо написана, что стихи в „Народной Воле“—рубленная проза, а от подделки под простонародный язык коробило, но я извинял все это подпольной литературе. „Знамение времени“ казалось мне произведением тенденциозным и по таланту несравненно ниже „Героя нашего времени“ или „Отцов и детей“,

и я осмеливался спорить об этом с Василием Максимовичем. Но зато я вполне подчинился тогда Писареву и Чернышевскому. Романом „Что делать?“ мы все зачитывались. Тем не менее моя некоторая самостоятельность была учтена в мою же пользу, главный же интерес к „нашему кружку“ в „руководителях“ возбудили, конечно, журнал и тетрадь моих стихов, показанные им Василием Максимовичем.

Так или иначе, но мы удостоились, наконец, чести познакомиться с „самим“.

Однажды зимним вечером Василий Максимович заявил нам всем троим, что хочет повести нас „в гости к одному человеку“. И мы отправились с ним.

Мы долго шли гуськом по темным улицам и переулкам, по узким деревянным тротуарам провинциального города, соблюдая предосторожности, не следит ли за нами „шпион“. Наконец на окраине города вошли в какую-то незапертую калитку; там во дворе, во флигеле тускло светился сквозь опущенные гардины огонек. Вася дернул ручку звонка на проволоке, и нам отворили.

Все это было очень таинственно и волновало нас.

Мы вошли в небольшую, тепло натопленную чистенькую квартирку, ярко освещенную, в зале которой сидели трое мужчин и одна женщина. Один из них тотчас же вышел к нам в прихожую и поздоровался, назвав себя:

— Филадельфов.

Это и был „сам“.

— Вот привел вам молодежь!—сказал Вася, раздеваясь.

— Добро пожаловать!.. А ну, покажите-ка, какие они у вас!..

Филадельфов добродушно смеялся и, пожимая нам руки, подталкивал нас в комнату. Конфузясь, мы вошли.

Филадельфов был очень некрасив: приземистый, сутоловатый, в русской рубахе, с лицом мордовского типа, с белокурой бородой „а ля Христос“ и длинными, слегка вьющимися волосами, закинутыми назад. Но некрасивое скуластое лицо было полно ума, оживления и выразительности. Он часто смеялся и все время шутил, но чувствовалось, что человек этот может шутить с самым беспечным видом даже и тогда, когда у него на душе кошки скребут. Самообладание и большая выдержка чувствовались в нем.

Молодая и красивая дама была, должно быть, его женой, а два другие господина были — Петр Гусев и Александр Иванович Кузнецов — бывшие семинаристы, а теперь поднадзорные люди, с которыми мне впоследствии пришлось близко сойтись и многое пережить вместе.

У Гусева были красивые кудрявые волосы, а бакенбарды выросли прежде усов, отчего он слегка напоминал портрет Пушкина.

Кузнецов был высокий, полный брюнет, с белым лицом, тонкими усами и коротко остриженными густыми черными волосами; на нем была хорошая пиджачная пара; на вид обыкновенный, приличный господин, но я знал, что за одно знакомство с ним и Гусевым можно вылететь из семинарии, не говоря уже о знакомстве с таинственным Филадельфовым, который занимался неизвестно чем, находился под гласным надзором, а в прошлом участвовал в каком-то процессе „ста девяносто трех“.

Немного нужно было времени, чтобы Филадельфов заговорил и заставил всех нас слушать себя с величайшим интересом в продолжение нескольких часов. Он говорил весело, остроумно, местами забавно, то и дело вызывая наш общий смех, картинно, образно, ярко. Немного встречал я в моей жизни, богатой встречами, таких мастеров устного слова. Это был замечательный популяризатор; ведь он говорил в сущности об очень серьезных вещах: о народе и народничестве, об интеллигенции, о революции и террористах, о царе и правительстве, а между тем мы видели целый фейерверк остроумия, который, конечно, невозможно передать. Пред нами блистал своеобразный артист, художник слова. Эта его речь, а также и все последующие, какие я от него слышал всякий раз, как бывал у него, — под свежим впечатлением запомнились тогда мне слово в слово, и я только потому их не записал, что никогда их не забуду, так сильно было впечатление от речей этого блестящего человека, по условиям русской жизни замурованного в подполье! Ему нужна была трибуна, широкое поле, с которого голос его должен был бы раздаваться на всю Россию, но, находясь чуть не под домашним арестом, он рад был поговорить хоть потихоньку, дома, в уголку перед зеленой молодежью, в надежде, что, быть может, хоть это маленькое дело даст когда-нибудь свои плоды. В этом он не ошибся; все, кто слышал его речи, глубоко воспринимали их, а в суждениях его было много верного понимания действительности, которого всегда не хватало русской интеллигенции. Филадельфов был из немногих выдающихся людей ее, одаренных

чутьем жизни и здравым смыслом; может быть, это происходило от художественности его натуры,—талант не боялся мыслить свободно.

Теперь он осмеивал веру тогдашней интеллигенции в скорое пришествие русской революции, осмеивал, не без скрытой боли, и себя, и пережитые им ошибки.

— Когда мы „ходили в народ“,—усмехаясь над собой, говорил Филадельфов,—то у нас относительно этой самой, прости господи, „революции“ такой был расчет: ведь каждый человек может распропагандировать—ну, хоть троих человек? Так. А из тех троих каждый тоже троих может? Может. Таким образом по нашим вычислением выходило, что не более как в три года можно просветить всю Россию и поднять революцию. Так у нас и выходило.

— А вы ходили в народ?—с любопытством спросил я его.

— Ходил.

— Ну, как вы это делали? Расскажите, с чего вы начали?

— Очень просто: пошел на толчок, купил поддевку, рубаху, сапоги, надел все это на себя и пошел.

— Интересно!—завистливо загудели мы.

Филадельфов рассмеялся.

Филадельфов не верил теперь и в террор: он проповедывал медленную просветительную работу, работу, сельского учителя: грамотность! грамотность! иначе кто же станет читать вашу нелегальщину?

Увы! время подтвердило, что он был прав: революция пришла не через три года, а ровно через тридцать лет.

Это было в конце восьмидесятых годов. Как слепые котята, у которых только еще открываются глаза, мы не знали еще, что „там, наверху“ готовится новая волна репрессий и всяческих „скорпионов“, „дух“ которых мы пока еще только в семинарии ощущали. Кто-то собирался вырвать что-то с корнем, а вместе с тем и нас, молодые, зеленые побеги, только что выглянувшие на свет божий. Боролись не с народом: народ спал тяжелым, мрачным сном: я хорошо это знал, только что придя сюда от него; оберегая сон его, боролись с бунтовавшей интеллигенцией, хотели вновь выполоть „плевелы“ на русской ниве. Скоро, очень скоро, через какой-нибудь год—полтора тихий город наш зашумел от высланной из станиц университетской молодежи, от ссыльной и пересыльной интеллигенции. Потом все затихло и замерло в обывательском прозябании на много лет. Исчез тогда куда-то и Филадельфов. Говорили, что он где-то в глуши, в степи, служит начальником станции, удивляет своих сослуживцев по линии своим остроумием, которое, впрочем, стало тогда у него более желчным, горьким и злым. А лет через семь, уже в годы моих скитаний, кто-то из старых знакомых, между прочим, упомянул в письме ко мне о смерти Филадельфова от злой чахотки на глухой станции, забытой богом и людьми.

Таков был конец этого яркого, ценного, крупного человека. Извелась, сошла на-нет и бесславно, незаметно погибла большая сила.

А за ним и другие—волна за волной, поколение за поколением—скашивались и истреблялись чьей-то жесто-

кой и злобной рукой, пока не настало еще горшее безвременье и не пришли его нудные герои с грустным певцом своим—Чеховым.

Филадельфов своими блестящими импровизациями занял у нас почти весь вечер.

Потом ему стали возражать Гусев и Кузнецов. Они оба стояли за террор. Незаметно спор их зашел в неизвестную нам тогда политическую экономию и историю русского революционного движения. Многое в их умной беседе было нам непонятно, наглядно показывая нам наше невежество и их большую социально-революционную осведомленность.

Наконец, заметив, как беспомощно мы хлопаем глазами, Филадельфов оборвал спор какой-то забавной шуткой и неожиданно вытащил откуда-то великолепную концертную гармонию...

— Довольно умных разговоров,—заявил он,—лучше я вам сыграю что-нибудь!

Он взял аккорд: прекрасный инструмент звучал, как орган. Заиграл что-то веселое и неожиданно запел:

Жил-был Саша—
Тер-ро-рист!..

И, залившись веселым смехом, стукнул Кузнецова по коленке.

— Ведь это про вас песенка-то, Александр Иваныч!

Серьезный Кузнецов невольно ухмыльнулся.

— Ну, не буду,—продолжал Филадельфов.—Из оперы сыграю вам.

И он великолепно сыграл нам что-то многозвучное, прекрасное, чего мы никогда еще не слыхали.

— Это из „Гугенотов“! — пояснил он нам по окончании игры.

— Вы, должно быть, много раз бывали в опере, если на память играете?—заметилъ я.

— Счетом два раза был, когда жил в Петербурге!— со смехом возразил Филадельфов.—Хотите еще из „Жизни за царя“ сыграю?

И он сыграл нам еще из этой оперы.

Был уже поздний час, когда мы, очарованные им, собрались, наконец, уходить.

Провожая нас в передней, Филадельфов вдруг хлопнул меня по плечу.

— А ведь я читал ваши стихи!—живо вскричал он.—Знаете что? По моему—у вас есть способность. Ну, если не лира, так хоть цитра, что ли... Вы продолжайте! ей-богу! только знаете что?—не пишите грустных стихов! А? И без них тошно! Вот у вас там есть под Надсона: „ах, не рыдайте вы, струны, звенящие“! дребезжащие! окаящие! ну их... свое что-нибудь напишите! Только вы не сердитесь за эти слова: я от души! Не будете? ну ладно!.. Так заходите же ко мне чайку попить!..

Мы ушли в молодом восторге от нового знакомства и, шагая по морозному, скрипучему снегу, всю дорогу говорил о Филадельфове.

V

Как-то на занятиях в семинарии во время большой получасовой „перемены“, когда вся семинария расхаживала по классам, занимаясь кто зубрежкой, кто разговорами, кто „козлогласием“,—ко мне пошел один из второклассников—высокий, стройный и красивый молодой человек, одевавшийся всегда очень хорошо, почти изысканно и державший себя несколько особняком от всех, барином.

— Позвольте с вами познакомиться: Левковский!— отрекомендовался он мне приятным тенором и крепко сжал мне руку своей сильной, но мягкой рукой с розоватой кожей и холенными ногтями. И лицо у него было чистое, нежное не крестьянской породы.

— Когда мне говорили, что вы пишете стихи,— продолжал он, прогуливаясь со мной по классу среди всеобщего шума и говора,—я, судя по вашей скромной наружности, отнесся к этому иронически... даже насмешливо, признаюсь в этом... Но недавно я прочел вашу поэму и теперь подошел к вам извиниться и познакомиться.... Я беру свои слова назад... Я убедился, что да—у вас действительно есть талант и вы настоящий поэт.

Он помолчал, шагая со мной большими шагами; нежные щеки его, едва покрытые золотистым первым пухом пробивавшейся бородки, слегка зарделись и продолжал:—Одним словом, я тоже пишу стихи и совершенно искренно ставлю их ниже ваших... и я бы хотел показать вам мои стихи!.. Вот!

Он вынул из бокового кармана своего новенького и чистенького, хорошо сшитого пиджака небольшую тетрадку розовой почтовой бумаги, исписанную красивым четким почерком и подал мне.

— Я бы хотел потом поговорить с вами,—добавил он, останавливаясь.—Когда прочтете, заходите ко мне на квартиру после пяти часов.

Левковский сказал мне свой адрес, пожал руку, повернулся и отошел от меня.

Я с любопытством посмотрел ему вслед и заглянул в тетрадку стихов Левковского.

На первой странице было длинное и, повидимому, излюбленное им стихотворение под заглавием „Размышления никудышного". Это были жалобы на безволие и неприспособленность. Автор считал себя каким-то „роковым", „конченным" человеком, „обреченным". От стихов веяло искренней грустью и безнадежностью. Последний куплет этого стихотворения я и теперь помню: оно заканчивалось так:

„В бесполезных, бесплодных усильях
Мы истратили силы легко,
Улететь мы хотели на крыльях—
Притяженье земли велико!"

Видно было, что Левковский свободно владеет рифмой и стихом, что они легко выливаются у него. Предпочтение, которое он отдавал моим стихам, показалось мне сомнительным: видно было, что Левковский не бездарен, умен и болезненно самолюбив. Да и не об этом, вероятно, он хотел говорить со мной: я чувствовал по искреннему драматизму его „размышле-

ний", что им глубоко завладела навязчивая идея „никудышничества" и что разговор предстоит именно об этом.

Левковский с двух слов понравился мне: в его нежном голосе и вспыхивающем серьезном, печальном лице было искреннее переживание чего-то.

И я пошел к нему.

Он жил один в мансарде, под крышей, в маленькой, но уютной комнатке с большим итальянским окном: в комнате едва умещались только кровать, маленький столик, этажерка с книгами и два стула. На стене висела гитара: настоящее жилище поэта. В комнате было опрятно и чисто, как у барышни, и сам Левковский в момент моего прихода лежал одетый на опрятной постели, читая какую-то книгу. Я заметил и на нем белье безукоризненной чистоты, и весь он был такой чистый, свежий, с розоватой нежной кожей красивого лица и породистых белых рук. Чувствовались все признаки „барчука", с привычками „порядочного человека".

— Вот!—вскричал он, завидев меня:—не один я на свете никудышный, и не один пишу об этом: вот послушайте!

И он с места в карьер прочитал мне полстраницы из какой-то статьи или рассказа, где говорилось о типе людей, над которыми тяготеет рок неприспособленности к жизни: „ни павы, ни вороны". Что бы они ни делали, как бы ни боролись—они остаются ненужными, одинокими среди людей: поток жизни идет без них, выбрасывая их, как ненужный сор, и они погибают, как бы

ни были умны, сильны или талантливы, так как и талант только тогда не погибает, когда он „нужен жизни“, только тогда она поднимает и несет его в своем неудержимом потоке...

Прочитав это с необыкновенным волнением, Левковский размахнулся книгой и бросил ею в угол комнаты.

Мы тотчас же заспорили.

— Отчего вы не с нами,— говорил я ему,—отчего вы сторонитесь от таких товарищей, как Василий Максимович? Да и без него есть целый круг умных, интересных людей, которые...

Левковский перебил меня.

— Отчего? Оттого, что они, кроме революции, ничего знать не хотят! Оттого, что они сапоги ставят выше Шекспира, а литературой считают только „Капитал“ Маркса, в котором, кстати сказать, и не понимают ничего! Оттого, что во всем, что не касается революции, они невежественны, как сорок тысяч братьев! Вы обратите внимание, с каким презрением они относятся вообще к беллетристике, в которой Щедрин, Толстой, Достоевский! А они разве только еще Некрасова считают „полезным“, который, по моему мнению, даже и не поэт, а вот Фета они считают неприличным, хотя знают одно его стихотворение, прочитанное ими в этой дурацкой критике Писарева, который даже Пушкина оплевать хотел, да только и до задницы ему не доплюнул: „шопот, робкое дыханье, трели соловья“. Да, ведь, это—шедевр, прелесть! Попробуйте вы им завтра сказать так, и они вышвырнут вас из своего кружка!..

Фет запрещен ихнею цензурой! Фет, видите ли, был помещиком во времена крепостного права и ничего не написал о народе, так вот поэтому они считают его „вредным“... А вот я люблю Фета!.. вы только послушайте!

Левковский сорвал со стены гитару и, чуть слышно шелестя струнами, очень хорошо спел мне пианиссимо красивой фистулой своего чистого тенора прелестный романс:

Тихая звездная ночь...
Трепетно светит луна...
Жарче тебя и люблю
В тихую звездную ночь!..

— Это стихи Фета!—сказал он, кончив петь.—Разве не прелесть?

Я согласился, что Фет—действительно прелесть, и признался, что еще не читал его стихотворений.

— Вот у вас,—продолжал Левковский, есть недурное стихотворение: „Брат, не любуйся ты ночью прекрасною“... Оно – искренное и вы, как человек из народа, вероятно, не могли иначе написать; но, однако, почему не любоваться прекрасной ночью? По-моему—можно любоваться, даже нельзя не любоваться, если она действительно прекрасна, как сорок тысяч братьев!

Левковский помолчал, провел по струнам гитары и продолжал:

— Я вовсе не хочу, чтобы вы писали как-нибудь иначе, чем вы пишете: искренность—главное: глупо обвинять и Фета в том, что он не писал о народе. Но

ваше настроение уже совпало с жизнью, с моментом, с „их“ настроением, вас уже подняли на щит: вы, вероятно, и не знаете, что ваши стихи и без вашего ведома списываются и читаются молодежью! Вы в недалеком будущем печататься начнете и вообще из вас что-то выйдет: вы—нужны „им“!.. ведь вы для них—свой!

— А вы-то из какого сословия?—спросил я.

Левковский улыбнулся.

— Из колокольных дворян: я сын священника: отец мой довольно состоятельный поп. Брат мой Аристарх в этом году кончает духовную семинарию, а я—никудышный: оставили меня на второй год во втором классе духовной семинарии, а я не остался, перешел в учительскую... Моя песня спета: вот кончу курс, возьму себе жену и заживу в деревне.

— А как же стихи?

— Э!—Левковский махнул рукой,—что мои стихи? никому они не нужны!.. не по времени!.. а с „ними“ я все равно никогда не сойдусь, потому что... аристократ!..—улыбаясь, подшутил он над собой.

— Вы думаете—я ретроград, как они выражаются?—продолжал он, опять вспыхивая и загораясь,—ничего подобного! Родину я люблю—как сорок тысяч братьев, не меньше ихнего, а, пожалуй, побольше, искреннее... Ведь между ними не все искренны... Эх, не все... Многие отлично устраиваются, умеренно либеральничая... Знаю я все это... Но я не могу быть однобоким, мыслить по шаблону, а ведь и там накладывают цепи на

главную свободу человека—свободу мысли, и этим отталкивают от себя. Может быть, именно потому, что я поэт—я и не могу быть с ними: ни пава, ни ворона... Да и вы...

Левковский запнулся.

— Предсказываю вам,—продолжал он,—со временем и вы уйдете из подполья или будете изгнаны оттуда только потому что, как талантливый человек будете думать не совсем по их шаблону... Ведь вы поэт, а они не понимают и отрицают поэзию!.. Они будут требовать, чтобы вы политическую экономию изучали, а на кой она вам чорт!

— Ну, это не вредно!—возразил я;—почему же поэт обязательно должен быть невежественным?

Мы заспорили.

Было ясно, что Левковский—эстет, поэт-парнасец и имеет,—что называется, „зуб“ против моих „мыслящих реалистов“, что он одинок в своем эстетизме и страдает от этого. Многое из его желчных нападок на них казалось мне явно-преувеличенным, но во многом была и правда: Фета, действительно, у нас „не признавали“, да и на „беллетристику“ вообще смотрели преимущественно с тенденциозной и революционной точки зрения: такое уж было время. „Во взглядах“ мы почти во всем расходились с ним и вместе с тем его чутье красоты и любовь к поэзии делали его, против моего желания, более близким мне, чем „мыслящие реалисты“, целиком воспринявшие „бунт“ Писарева.

Со стороны Левковского был обратный бунт против „писаревщины“, и я впервые и совершенно неожиданно натолкнулся на такого „бунтаря“. Нужно было разобраться. Одно я чувствовал: мои прозаичные, мыслящие реалисты, проникнутые революционным духом, были мне братьями по духу и крови, а поэт Левковский, такой близкий по натуре, одинаково со мной чувствовавший поэзию и красоту, как человек—для меня был чужой, „барич“, не понимавший того, что зажигало нас.

Это двойственное отношение так и осталось у нас до разлуки: мы любили друг друга, как две родственные души, рожденные в двух враждующих племенах.

„Семинарские реалисты“ чувствовали свою силу: их выпирало „из низов“, и они шли дикой ордой, готовясь к бою, бряцая оружием, и певцом своим избрали меня: моих стихов ждали на каждой нашей вечеринке, а изящный лирик и тонкий поэт Левковский был несправедливо оставлен в тени и больно чувствовал свою „никудышность“, непризнанность и ненужность „толпе“.

Я и сейчас уверен, что если бы у него было больше упрямства и воли и если бы жизнь его сложилась иначе—из Левковского мог бы получиться талантливый поэт, который, быть может, стал бы даже „известностью“ в литературе. Задатки к этому были у него. Но он не захотел и сделал так, как говорил: тотчас же по окончании курса женился, был несколько лет сельским учителем, а потом не выдержал и этого подвига:

семья и нужда и, быть может, наследственное, истовое тяготение „к своим“ заставили его возвратиться в духовное звание: через несколько лет я его встретил в дьяконском подряснике, с длинными волосами, а потом и в рясе „иерея“.

И, несомненно, гораздо больше внутренней силы проявили впоследствии мои товарищи Клим, Петр Андреевич и в особенности Василий Максимович, ошибки которых до известной степени справедливо третировал Левковский. Первые двое, вероятно, и до сих пор „учительствуют“. Я с ними встречался через много лет, в зареве революции 1905 года, и убедился, что жизнь „не заела“ их: да и чего было заедать: ведь это были деревенские люди, три года побывшие в семинарии и опять возвратившиеся на всю жизнь в родные места в качестве „местной“ интеллигенции, здоровой, прочной. Они хорошо сделали свое дело, да, вероятно, и теперь делают.

Василия Максимовича не пустили в учителя; тогда он с чисто мужицким упрямством поступил в фельдшерскую школу, кончил ее и таки поставил на своем: попал в деревню если не учителем, так фельдшером—все равно. Это был исключительный фельдшер, развитой, энергичный человек, в течение пятнадцати лет вплоть до 1905 г. упрямо подготовлявший „мужицкую интеллигенцию“ и сыгравший для своего района большую роль, результаты которой обнаружились во время первой революции.

Все они оказались жизнеспособнее и живучее Левковского. Но я с глубокой симпатией и жалостью вспо-

минаю теперь и о нем, как о прекрасном, но хрупком цветке, который „отцвел, не успевши расцвесть“ в суровом климате русской жизни, с первых же шагов предчувствуя свою „никудышность“.

Я провел этот первый вечер у Левковского в содержательных разговорах о поэзии и поэтах. Стихов он знал наизусть множество и великолепно их декламировал, обнаружив передо мною, кроме игры и пения, еще и значительную талантливость артистическую: как жаль, что все это впоследствии было похоронено под иерейскою скуфьей!

В заключение он даже потряс меня вдохновенной декламацией стихотворения Никитина: „Хозяин“. Я и сейчас как будто вижу перед собой этого задушевного юношу с пылающим, одухотворенным лицом и слышу его вибрирующий от искреннего чувства голос:

На старом кургане в широкой степи
Прикованный сокол сидит на цепи...
Сидит он уж тысячу лет:
Все нет ему воли, все нет!

После этого первого знакомства я довольно часто бывал у него, но он у меня—никогда.

VI.

К Рождеству отец прислал мне письмо с пятью рублями и писал, что у них все благополучно, все здоровы, ждут меня на святки и чтобы я непременно приезжал, да чтобы струн купил для итальянских но-

вых гусель, которые сделал мне он в награду за мое „ученье“. Тут кстати в числе немногих лучших и беднейших воспитанников семинарии получил я еще десять рублей казенного пособия, и, чувствуя себя богачем, купил не только струн, но еще и рождественских подарков для маленьких братьев и сестер, которых к этому времени накопилось у отца шесть человек.

Захватил я еще с собой книг „запрещенных“ для отца и себя: „Что делать?“ Чернышевского, религиозные брошюры Толстого, отпечатанные на гектографе, и нелегальщину тогдашнего времени: всей этой редкостной литературой я думал порадовать моего отца.

Билет третьего класса по железной дороге до нашей станции стоил всего рубль сорок три копейки, и поезд шел туда только четыре часа, отходя из города часов в пять вечера: следовательно, к девяти часам меня уж ждали в родной избушке на краю нашего села.

Никогда не забуду того особенного волшебно-мечтательного настроения, которое всякий раз охватывало меня при возвращении на Рождество в отчий дом: тускло мигали свечи в фонарях вагона третьего класса, однообразно стучали колеса, как будто выговаривая таинственно-радостные слова, и волшебной казалась темная зимняя, морозная ночь за промерзшими окнами вагона. Кругом дремали незнакомые пассажиры, сквозь стук колес слышались голоса разговаривавших, проходил тепло одетый, красный от холода кондуктор с фо-

нарем в руке, проверявший билеты, но все это почти не доходило до сознания, скользило мимо глаз и души, а душа была полна неясных, полусонных, но неизменно-радостных предчувствий и грез... Представлялась зимняя ночь в селе, тусклый огонек в окнах нашей избушки, лица родных, любимых маленьких моих братишек... Вспомнилось, какие красивые коробочки с сюрпризами и какого серебристого, осыпанного инеем рождественского деда везу я им и как они, бедные, будут радоваться, какой это будет для них праздник!..

В этих радостных полусонных грезах о тепле и уюте родного угла незаметно мелькали часы, и вот я уже на станции „Обшаровка“, где поезд стоит только четыре минуты и мчится дальше без меня. Тихо на маленькой деревянной, скучной станции, и тиха кругом морозная темная ночь, а в полуверсте от нее тускло светятся огоньки большого села. После города и поезда необычно поражает здешняя короткая, задумчивая тишина. Но и она кажется приветливой, молчаливо-ласковой и родной.

Единственный извозчик, всегда выезжающий на станцию в чаянии редких пассажиров, предупрежден отцом о моем приезде; он друг его и знает меня, вынимает из заскорузлой овчинной рукавицы жесткую руку и сует ее мне.

— Здравствуй!—говорит он мне,—с приездом!.. а я за тобой!.. папаша-то ждет не дождется!

Он берет мой дешевенький чемоданишко, и мы идем к его саням, что стоят по ту сторону станции. Всю

дорогу он разговаривает со мной, сидя на своей скамейке впереди саней вполоборота ко мне, не как с настоящим пассажиром, а как с своим человеком.

— Вишь, по ученой части пошел ты, значит?—как бы в раздумьи говорит он мне.

— Да, учусь в учительской семинарии!..—не очень словоохотливо отвечаю я, занятый своими чувствами.

— Дело доброе! дай-то бог! Трудно папаше-то твоему: семья у вас большая, а работник один...

Тянется длинное село. Мелькают знакомые огоньки в знакомых избах. Вот волостное правление, училище... проехали церковь...

— Поскорее бы!..

— Али не терпится?.. н-но! ах ты, родная!..

Извозчик „для меня“ подстегивает лошадь... Мягко хрустит снег под копытами, скрипят полозья, убегает назад снежная дорога... звезды ласково мигают с темного неба. Поворотили в переулок. Вот и наш огонек.

— Ждут тебя!.. тр-р! приехали!..

Радостно волнуясь, вхожу через темные сени в мастерскую.

— Здравствуйте!..

Все, как прежде, родное, близкое: ярко светит рабочая лампа сверху, под жестяным абажуром; кругом стружки, пахнет клеем, отец в холщевом фартуке—с нагрудником строгает за верстаком с трубкой в зубах.

— Ба! говорит он весело, своим звучным басом, станавливая рубанок: наконец-то!

Мы обнимаемся. Отец крепко целует меня и неожиданно плачет.

А тут уж и мать повисла на шее. Ребятишки выбежали из смежной „чистой“ половины, все шестеро.

Старшей сестре четырнадцать лет: учится в двухклассном училище вместе с мальчиками.

А в „чистой избе“ и самовар на столе кипит, и яйца в смятку приготовлены, и еще что-то ждали.

Всей семьей садимся вокруг стола. Общий говор. Все находят, что я похудел и еще выше стал ростом.

— Выше отца-то! говорит мать: а кормят-то тебя там как? плохо, чай? часто ли в баню-то ходишь?..

— А ученье как? спрашивает отец: хорошо идет?

— Ученье хорошо. Вот книжек новых привез, посмотри! струн купил. Ну-ка, где новые гусли?

Отец показывает гусли, пока еще без струн, отличные гусли...

— Видишь, дека мелкослойная, под белым лаком! звук должен быть хороший, а подструнник буковый! завтра наладим!..

— А ты пей чай-то! прерывает мать: да поешь, проголодался ведь?..

Но я и есть не хочу. Вынимаю из чемодана рождественского деда, коробочки, дешевые игрушки, дарю их ребятишкам: общий восторг.

Отец рассматривает книги, напялив на нос чиненые очки в медной оправе. Через час, когда все в доме полегли спать, мы с отцом долго сидим в мастерской и до глубокой ночи разговариваем вполголоса, чтобы не мешать спящей семье.

Я рассказал ему о семинарии, об ее учителях, о директоре, о Филадельфове, о своих товарищах и о всей той новой жизни, в которую попал.

Еще и прежде мы с отцом недоумевали: чего хотят таинственные, неизвестные люди, убившие Александра Второго, которых правительство в своих манифестах и книжонках „к народу“ называло „злонамеренными лицами, ходящими ловить рыбу в мутной воде“. Дворяне ли это, отомстившие царю за освобождение крестьян, как одно время думал отец, или еще какие-нибудь люди? И какую рыбу могли ловить они на том свете, когда всех их повесили?... Фраза эта и тогда поражала нас своей туманностью. Теперь все было ясно.

Я открыл отцу, что встретил этих „подпольных людей“, разговаривал с ними, читал то, что они пишут в своих „подпольных книгах“, в которых объясняют свои действия: они хотят революции, хотят поднять народ на царя и его дворянское правительство, чтобы добиться окончательной свободы:они—за народ: это наши лучшие люди, самые умные, самые развитые и образованные: теперь их много, вся учащаяся молодежь—с ними...

— И я им сочувствую! закончил я свои рассказы. Отец слушал меня с величайшим интересом.

— Все это хорошо! сказал он, раздумчиво попыхивая трубкой: слава богу, что там, в городских слоях что-то начинается, вспомнили о народе... Но— возможно ли это и когда еще будет, да и будет ли когда-нибудь? народ наш темен!..

— Будет!.. с пламенной верой нетерпеливо заявил я ему:—не скоро, может быть, но будет непременно!..

— Здорово тебя там... настроили...—в раздумьи, присматриваясь ко мне, говорил отец: вижу!.. конечно, все это так, все это верно, да я сам тебя на эту дорогу поставил, когда мы с тобой вместе „Кабалу“ писали и Некрасова читали, но смотри, сынок, береги свою голову: опасный это путь!..

Я стал уверять отца, что опасности для меня пока еще нет никакой: ведь мы только еще книги читаем, знания набираемся: в семинарии мало чему учат, так мы сами учимся: ведь и он послал меня в город знания добывать, а не только места учительского.

В этот вечер отец больше слушал меня, чем говорил сам. Вероятно, он не ожидал, что я пойду по прямой линии от его речей и чтения книг мимо семинарии к революции, но сейчас же спохватился, что он и сам в этом виноват...

— Ну, ложись спать, а я пока твои подпольные-то листочки почитаю... Посмотрим!..

Отец вздохнул, надел свои медные очки и погрузился в чтение.

Утром за чаем он при всех рассказал, какой ему виделся интересный сон.

— Будто бы площадь какая-то, и вся она народу полна, а среди площади эшафот устроен такой, как бывало устраивали, когда еще на „кобыле“ кнутом казнили... И палач стоит в красной рубахе, но только в руках у него не кнут, а топор. Вдруг народ закричал: „ведут! ведут!“

Смотрю: ведут на эшафот преступника: взошел он,— народу кланяется, говорит что-то неслышное... Бледно лицо у него... Вглядываюсь—а это ты!.. Палач толкну тебя к плахе, и ты встал на колени и голову на плах положил, а он взял в обе руки топор, напрыжился занес его над тобой... Тут я проснулся!..

Отец рассказал это с присущей его рассказам кра сочностью.

— Дурной сон! заметила мать: не надо бы рассказывать-то!

— Это ты нелегальщины начитался на ночь! пошути я над отцом: не надо ее на ночь читать!

— И то правда! согласился отец: я вчера так долго твои книжки читал: про Желябова, да про Софь Перовскую...

— А ты лучше „Что делать“ почитай: для тебя привез...

— Прочитать-то я все прочитаю... дело праздничное.. но только ты этот сон мой намотай себе на ус...

— Да ладно уж! волков бояться — в лес не ходить!..

— Ведь вся у нас надежда на тебя: кончишь курс учителем будешь, семье облегченье: вон ведь их сколько мелюзги-то!..

На Рождество мы с отцом пошли в гости к сельскому учителю, учеником которого я так еще недавно был.

Учитель принял нас ласково. Со мной совсем переменил обращение: говорил мне „вы“, предложил папиросу.

— Благодарю вас, я не курю! отказался я.

— Вот это хорошо! одобрил он: и не курите!.. а что в вашей семинарии куренье запрещается?

— Нисколько! возразил я: у нас даже курительная комната имеется, но именно поэтому многие не курят.

— Я тоже не запрещал ему курить! добавил отец, раскуривая трубку: — но только говорил: не советую курить!..

— Потому и не курит, что никто не запрещал! объяснил учитель: такова человеческая психология: только запрещенный плод кажется сладким!..

Приглашая нас к праздничному столу, уставленному закусками и бутылками, учитель снова начал искушать меня.

— Ну, может быть, водочки выпьете?

Я ответил, что не пью ее и никогда не пробовал пить...

— Ну, а вина какого-нибудь легкого?

— Вина тоже никакого не пробовал... Выпить разве легкого-то? спросил я отца: коньяку, что ли?

Отец и учитель рассмеялись.

— Ну, брат, коньяк-то как раз не из легких!..

— Не знаю я... ничего не надо!..

— Не пей уж ничего, коли не знаешь! посоветовал отец.

— Что же,—продолжал учитель—может быть, у вас и пьянство не запрещается?..

Я кивнул головой.

— Удивительно!—развел руками учитель: как изменились времена! что же у вас запрещается-то?

— Вот чтение у нас—действительно, строго запрещается! оживился я—даже исключают за это!.

— Ну, а вы?

— Читаем запоем!

— Учитель и отец опять засмеялись.

— Разрешили бы чтение-то: наверное, тогда меньше бы стали читать!

Посидев у учителя приличное для праздничного визита время, мы возвратились домой: больше некому было делать визитов: поповичи не приехали: сын попа—Аркаша—учился в это время уже в землемерном, а племянник Вася Виноградов кончил курс и уже священствовал где-то: переписка наша еще в начале года кончилась разрывом, так как он не сочувствовал моим „новым взглядам“.

Судью перевели в город, а вместе с ним уехал и его письмоводитель Петр Николаевич, закадычный друг моего отца.

Против моего ожидания, святки пришлось провести довольно скучно, дома, в разговорах с отцом и в чтении захваченных книг. Даже обычной ежегодной вечеринки ни у кого не состоялось, и отца никуда не пригласили с гуслями. Зато мы с ним настроили новые гусли, он наладил свои старые, и по вечерам мы увеселяли себя и семью игрой разом на двух построенных инструментах.

Отец перечитал все привезенное мной, и по поводу прочитанного у нас с ним шли оживленные беседы. Старик попрежнему был юн душой и теперь походил больше на моего товарища, чем на отца.

Одно только запало ему занозой в сердце: страх за мою судьбу.

— Не держи ты у себя эти подпольные книжки! убеждал он меня: пропадешь ни за понюх табаку!

И грозя пальцем, многозначительно спрашивал:

— Ты знаешь—что такое жандармы?

Но я тогда еще не знал, что такое жандармы, и легкомысленно смеялся над стариком.

Незаметно промелькнули святки в тихом уюте родного угла. Мать откармливала меня и подолгу, молча, с любовью смотрела на меня грустными глазами, как будто не могла наглядеться. Уезжая, я захватил с собой гусли и вернулся к товарищам.

VII.

После Рождества к нашему „кружку“ примкнул еще один товарищ из первого класса Гришка Афанасьев. Ему было—как и всем нам—семнадцать лет, но на вид казалось гораздо больше впоследствие того, что у него рано начала расти борода, которую он, редко бреясь, иногда запускал. Ходил он в сюртуке и охотничьих сапогах, волосы имел густые, черные, говорил почти без жестов и казался нам человеком „базаровского“ склада ума. Он жил один со старушкой матерью в каком-то нежилом покинутом барском доме какого-то либерального помещика-толстовца, от которого и получал маленькую стипендию, пользуясь при этом бесплатной комнатой в нежилом доме. Комната эта была громадная,

с большими венецианскими окнами, выходившими на пустырь и обрыв к реке, почти без мебели. В эту комнату мы часто собирались к нему для „общих чтений". Чтения эти были уже более серьезного характера, и руководить ими приходили то Гусев, то Кузнецов, принося и унося с собой „Капитал" Маркса. Чтения эти происходили раз в неделю то у Гришки, то у нас, то еще где-то, куда приходили две или три курсистки.

Кузнецов и Гусев были знатоки „Капитала", начетчики этой священной книги и знали ее на зубок, бесконечно разбираясь в запутанных нитях „формы ценности" и терпеливо стараясь втолковать нам хотя бы „прибавочную стоимость".

Но, по совести, говоря нам было скучно на этих чтениях: тяжелый научный язык „Капитала" казался какой-то китайской грамотой и приходилось останавливаться чуть ли не над каждой фразой для длинных объяснений, разговоров и споров, но именно в этих-то отступлениях от чтения и заключалось самое интересное. Иногда мы все бывали у Филадельфова, но там не происходило чтения: мы просто слушали его блестящие и остроумные импровизации, пока не догадались, что это были—его лекции для нас.

Знакомство с Филадельфовым открыло нам двери и на другие „общие" собрания молодежи, где можно было встретить, кроме избранных наших третьеклассников—много молодых людей из других учебных заведений: техников, курсисток, гимназисток, а также и „бывших" студентов, вроде наших „бывших семинаристов" Гусева и Кузнецова.

Довольно часто в течение зимы устраивались многолюдные вечеринки с буфетом и танцами и с литературно-вокальным отделением. Вход на такие вечеринки был по билетам и за плату. Устраивались они в чьей-нибудь большой квартире, которую иногда просто снимали на один вечер. На этих вечерах всегда было шумно, людно и весело.

Пели хором излюбленные песни: „Сижу за решеткой в темнице сырой“ или

Затрубила труба,
Повалила толпа
В поле чистое,
В степь широкую.
Среди поля погост,
На погосте помост и т. д.

Песни все были невеселые, даже жуткие, но настроение у всех приподнятое. По углам спорили о народе и революции. В буфете пили водку и пиво, но немного. Декламировали революционные стихи, вроде знаменитого „Белого покрывала“. Все это настраивало на героический лад. Почти всегда делали сбор „на заключенных“ или „ссыльных“.

Впоследствии я привык к вечеринкам этого типа, но теперь они были для меня новостью и событием.

Стихов своих на этих „больших“ вечерах я никогда не решался читать, несмотря на подталкивание близких товарищей: я читал их только на интимных собраниях „нашего“ кружка.

Мы окунулись в жизнь довольно шумную и деятельную. Домашнее наше существование каждый вечер наполняло чтение в прежнем духе под руководством Василия

Максимовича. Семинарских уроков дома никогда не готовили, даже учебников домой не носили, а держали их в парте, уроки же учили в семинарии за час до начала занятий и во время большой перемены: способности у всех были хорошие, и поэтому мы получали пятерки и считались лучшими учениками.

Но все наши помыслы и вся душа были далеко от семинарии. „Там“, „внизу“, в „подполье“ бурлила кипучая, напряженная умственная жизнь, о которой нельзя было со стороны даже и догадываться, судя по внешним признакам тогдашней жизни, хотя бы, например, по городской скучной газете сонного редактора, в которой писалось только о спящих гласных городской думы. На поверхности жизнь казалась стоячим болотом, да и мы в семинарии невинно зубрили катехизис и исправно ходили в церковь, ко всенощной и обедне, между тем „внутри“ жизнь бродила и закипала, как закупоренный котел. Правда, этот котел периодически охлаждали, и огонь под ним заливали кровью, но потом понемногу опять что-то разжигалось и опять чувствовались опасные и — для кого надо — заметные признаки кипения. В этом и заключалась вся печальная история тех минувших десятилетий, в которые уложилась моя жизнь.

Незаметно подошла весна, сошел снег, тронулся лед на Волге; „на носу“ были экзамены.

И вдруг мы с ужасом ощутили все враз и всей компанией, что ровно ничего не знаем по семинарской программе, что все, что мы наскоро вызубривали в классе, совершенно вылетело из головы и нам всем грозит полный провал на экзаменах.

Со страху никто из нас не поехал домой на пасхальные каникулы, и хотя на пасху мы тоже ничего не делали, но зато собрались с духом и с мыслями и сделали смотр своим казенным познаниям: результаты оказались плачевные: опять и опять подтверждалось, что мы все перезабыли и ничего не сможем ответить на экзаменах, если в две недели подготовки не вызубрим все, что полагалось вызубривать в течение целого года. Между тем в конце апреля начинались экзамены и к десятому мая должны были кончиться. Волосы дыбом вставали на наших головах. Когда нас, наконец, распустили „на экзамены“, вывесили расписание их и роздали программу билетов, началась безумная зубрежка. Я и сейчас с изумлением вспоминаю, до какого исступленного напряжения доходили тогда у нас наши умственные способности: так человек на пожаре или в борьбе не на жизнь, а на смерть проявляет иногда сверхъестественную физическую силу и, не помня себя, совершает подвиги, на которые в нормальном состоянии никогда не был бы способен.

Наша память, наше внимание и способность соображения напряглись до границы, за которой начинается гениальность или безумие.

Помню, что когда в течение года мы пытались понять учебники „логики“, которую так мертво преподавал нам сам директор, то должны были отказаться от этого: мертвец, „составивший“ эту идиотскую книгу, внушал нам органическое отвращение, побороть которое мы были не в силах. Так и осталась эта книга у нас непрочитанной до экзаменов. Теперь же я, находясь в не-

сомненном умоиступлении, прочел ее с безумным напряжением внимания только один раз от корки до корки и не только запомнил ее всю слово в слово, но даже путем какой-то сверхъестественной интуиции понял и то, что хотел, но не мог высказать на человеческом языке автор этой дубовой книги.

Приблизительно то же происходило и с моими товарищами. Мы все находились в ненормальном приподнятом возбуждении погибающих людей и походили на пьяных или буйно-сумасшедших. Мы не зубрили, как другие: мы только с трагическим напряжением прочитывали учебник и сразу запоминали его, а потом в диком исступлении целый день играли в городки на дворе нашего дома. Заходившие к нам одноклассники, зубрившие дни и ночи напролет, завистливо дивились:

— И когда они готовятся? целый день играют в городки, а на экзаменах пятерки получают!

Действительно, с первого же экзамена, с места в карьер, мы начали получать пятерки.

Так как годовые отметки у нас тоже были хорошие, то и учителя на экзаменах к нам не придирались, уверенные в наших познаниях: они не знали, что тотчас же после экзамена мы моментально забывали то, чем только что была набита голова, устремляясь с неослабевающей яростью на новый предмет.

Но к концу экзаменов мы все-таки начали уставать. Появились зрительные галлюцинации: я сам ловил пальцами в книге тоненькую, как волосок, маленькую змейку, которая, как спираль или часовая пружина, то свивалась, то развивалась: я вполне сознавал,

что змейка только представляется мне, и все-таки ловил ее.

Мы все сдали экзамены благополучно и тотчас же почувствовали страшный упадок сил и умственное отупение. Бывало—наклонишься, и тотчас же потемнеет в глазах, и голова закружится. Я пошел на прием к нашему семинарскому доктору: он исследовал глаза и нашел у меня близорукость, которой прежде не было, и малокровие, которым я тоже никогда не страдал до семинарии. Прописал мне очки, и с тех пор я сделался на всю жизнь близоруким очконосцем.

С уверенностью могу сказать, что за два года моего пребывания в семинарии я не только не получил от нее существенных знаний, не только не развил своих способностей, но — на почве недоедания, скверных условий жизни, умственного переутомления и беспорядочной дикой зубрежки во время экзаменов—заметно притупил и навсегда испортил свою до этого большую и острую память, потерял зоркость зрения, расшатал здоровье и надолго замедлил потом свое умственное развитие. Тех надежд, какие я подавал моим воспитателям в детстве, я так и не оправдал. И если я все-таки не остался круглым невеждой и не отупел окончательно, то обязан этим кратковременности моего пребывания в казенном учебном заведении, а также самому себе, товарищам и самостоятельному чтению, с которым так старательно боролось „дорогое мое заведение“.

После экзаменов меня неожиданно позвал к себе наверх директор.

Сердце мое екнуло от какого-то смутного и неприятного

предчувствия: ничего хорошего нельзя было ожидать от интимного собеседования с этим бесчувственным и жестоким человеком, которого все мы так страстно ненавидели. Директор занимал весь верхний этаж огромного дома — целую анфиладу больших и высоких роскошных комнат, в которых царствовала строгая тишина. Сторож, сопровождавший меня, шепнул, чтобы я подождал, и, оставив меня у тяжелой драпировки огромной двери в большой и пустынной комнате с блестящим паркетом, пошел доложить.

Через минуту послышались тяжелые шаги, и ко мне вышел директор. Я поклонился. Он едва кивнул мне, не вынимая рук из карманов синих форменных брюк, стал большими шагами ходить из угла в угол своего обширного кабинета, что-то обдумывая. Я стоял у порога в тревожном ожидании.

— Вот, что, Петров... раздался, наконец, его писклявый бабий голос: я позвал тебя, чтобы сделать тебе предупреждение... Никогда бы я и не знал, что есть на свете какой-то Петров, да совсем это мне и неинтересно знать, что какой-то там Петров есть на свете...

Директор шагал взад и вперед на большом от меня расстоянии и говорил так, как будто в комнате никого не было, и говорил таким пренебрежительным тоном, как будто шла речь о ничтожной букашке, которая копошилась около его сапога. Самый этот тон, которым он всегда говорил с нами, действовал, как пощечина Но приходилось молча слушать, стоя у притолки.

— Мне известен каждый твой шаг!..—продолжал

директор:—ты может быть, думаешь, что я ничего не знаю, а мне все известно; и как ты живешь, и что делаешь, и у кого бываешь, и с кем ты знаком — мне все известно!..

Директор уничтожающе остановился против меня, не подходя, впрочем, ко мне близко и повторил:

— Все известно!

Я открыл рот, чтобы искренно спросить его, зачем ему нужны эти известия и что из этого следует, но он не не дал мне и рта открыть...

— Не запирайся и не ври! я все знаю... Я знаю, например, что ты знаком... с Кузнецовым!

Я опять хотел отвечать, и опять он мне не дал говорить.

— Этот человек находится под надзором полиции, и я предупреждаю тебя, что если ты не прекратишь знакомства с ним и ему подобными вредными людьми, то будешь исключен... Я должен был бы исключить тебя теперь же, но в надежде, что ты, может быть, исправишься, оставляю тебя на год .. Если в будущий учебный год окажется, что ты не прекращаешь этих недопустимых знакомств, то—предупреждаю: ты будешь исключен!..

Приняв это к сведению, я хотел было уйти, но директор опять заговорил, на разные лады повторяя уже сказанное. Мне показалось, что он говорил мучительно долго, истязая меня именно этой ненужной длинностью своих разглагольствований. Наконец он наговорился и сказал мне:

— Ну, иди!

И я ушел, не промолвив ему в ответ ни слова.

VIII.

Погостив весной у отца, я на все лето отправился в родную деревню, куда тянуло меня еще свежее воспоминание о лучших, счатливейших днях моего детства, об идиллической сказочно-красивой ее природе, красоту которой только теперь я оценил, о бабушке-сказочнице, о вечерних и утренних зорях и праздничных хороводах на деревенской улице, заросшей ярко-зеленой муравой.

Хотелось опять увидаться с другом детства и ровесником моим дядей Ленькой и всеми товарищами незабвенных детских игр, опять „покрестьянствовать“ с Ленькой в степи, надышаться пряным степным воздухом, стряхнуть с души и тела гниль и плесень городского подполья и семинарского гнета.

Но главное, что меня теперь влекло туда, это—взглянуть на деревню новыми моими глазами, проверить на опыте все, что я слышал и читал в городе о деревне и мужике. Одним словом—я захватил с собою изрядное количество книг как легальных, так и „нелегальных“. Я намеревался по праздничным дням устраивать в родной деревне публичные чтения и посмотреть, что из этого выйдет.

Приехал я туда в самый разгар покоса, вечером в предпраздничный день, когда вся деревня вернулась с полевых работ, отмылась от дорожной пыли, и вся была на улице. Играли ребятишки. Бабы сидели с рукоделием на лужке около изб и на завалинках. Все уже

„убрались“ по хозяйству и готовились к завтрашнему праздничному отдыху.

Деревенская родня была искренно рада моему приезду. Деда в это время уже не было в живых, а бабушка померла еще когда мы с Ленькой были малышами. В избе деда жили его сыновья, два брата: давно уже семейный Яфим и холостой еще Ленька, мой ровесник, рослый парень семнадцати лет. Мы с ним по старой памяти легли спать вместе на сеновале и проговорили всю ночь до рассвета, рассказывая друг другу каждый о своей жизни. Леньку мало занимали политические и религиозные вопросы, которые я, конечно, не мог не затронуть в своем рассказе о городе и семинарии: он оказался человеком земли, и бог у него был земледельческий, принимавший непосредственное участие в орошении и урожае. Попов он, правда, подобно деду, не любил „за жадность“, но существование их терпел— куда ни шло: ту же самую жадность и скупость он одобрял в мужике.

— Ведь надо же, чтобы кто-нибудь обедню служил, крестил, хоронил, да свадьбы венчал!—резоннно заметил мне Ленька.

Царем он еще меньше интересовался, но считал, что царь существует для порядку и что без него тоже не обойдешься.

Он, как настоящий мужик, оживился и стал серьезно меня слушать только тогда, когда я заговорил о земле и помещиках. Но и тут его взгляды и верования оказались целиком воспринятыми от деда, главное верова-

ние которого, как я и сам помнил, заключалось в том, что „у мошенников когда-нибудь землю отберут“.

Ленька тоже допускал, что „это“ тоже когда-нибудь будет, но в таком отдаленном будущем, что теперь об этом не только говорить, но и думать не стоило.

Да, кстати сказать, никаких помещиков в нашей округе и не было, а была кругом казенная земля, громадный участок, который держал в долгосрочной аренде свой же мужик Павел Тимофеевич, а у него уже снимали землю вся деревня и сами набили цену до тридцати рублей за десятину. Участок этот снял по дешевке, кажется, на сорок девять лет, еще отец Павла, когда еще на волю отходили, а теперь, при дорогой земле, участок сделался для Павла „золотым дном“: разбогател Павел, десятками тысяч ворочает, скоро в купцы выйдет, а разве он виноват, что мужики сами цену набили, друг у дружки рвут? да и не плохой этот самый Павел, а брат у него Маркушка—так тот студент, в петербургском университете учится, и оба они одних мыслей: еще когда Александра второго убили и мужики жалели царя, думали, что это помещиково дело, Павел смеяся и говорил мужикам:

— О чем, дураки, жалеете? собаке и собачья смерть!..

— Распотешил всех! Вот он какой у нас Панек-то! шутливо добавил Ленька:—а Маркушка еще и не такие пули отчубучивает! поговори-ка с ним: скоро он приедет.

Павла Тимофеевича я и сам помнил еще с детских моих лет, а когда мой отец приезжал в деревню, то бывал у него в гостях и, случалось, брал меня с

собою: дом Павла с крытым крыльцом на колонках был всего через три или четыре двора от дедовой избы.

Павел жил богато, на купеческий лад, ездил на рысаке, стол его, бывало, ломился от вкусных и сладких явств, а сам он был богатырского вида, толстый, с окладистой ярко-красной бородой и глоткой, как у протодьякона. Бывало, если ругается Павел где-нибудь у себя на дворе своим необъятным басищем, так на всю деревню каждое слово слышно: мужики только ухмыляются, слушая:

— Экое хайло-то у Павла!..

Помнил я и Маркушку и уже студентом видал его мельком, но знаком с ним не был. Обличьем и Марк походил на брата: такой же басистый и рыжий здоровяк, только не толстый, лет-то ему немного тогда было: двадцать три—двадцать четыре.

Помнил я—отец мой, знавший еще их отца—бывшего бурмистра Тимофея—хорошо отзывался об обоих братьях: о Павле и Марке студенте.

— Так как же земля-то?—спрашивал меня Ленька:—кто тут виноват?

Сразу все не расскажешь, трудный этот вопрос!—уклонился я:—а вот я книжки хорошие привез: в них—есть...

— Какие уж мы чтецы?—вздохнул Ленька:—за хрестьянством и читать-то разучились!..

— Читать буду я!—заявил я Леньке:—придут еще Лёска, Степка, - Овечья Харя, Ванька Аляпа—я вам всем и прочитаю!...

Дядя мой рассмеялся.

— Не забыл ты старых-то друзей!..—признательно похвалил он меня:—ну, пока что, дававай-ка спать!..

На другой день я, подобно солдату, приехавшему в деревню „на побывку“, должен был в сопровождении Леньки обойти всю мою многочисленную родню и везде пить чай, есть праздничные явства и рассказывать, каково живется в городе нашему брату, ученому человеку. Все мои три тетки, дядя и двоюродные братья только ахали, слушая меня.

После праздничного раннего обеда, когда все поспали и опять угощали меня чаем, к избе Яфима и Леньки собрался „хоровод“. Бабы опять сидели кругом на траве и судачили. Пришли и три мои пожилые тетки, все, как три Парки, похожие одна на другую, с сухими морщинистыми лицами и, кажется, с веретенами и пряжей, с бессознательной какой-то мудростью пословиц и поговорок, из которых состояла их речь. Пришли и „друзья детства“: Степка, Овечья Харя тож, брат его Лёска, Ванька Аляпа и другие, с которыми когда-то играл я в детстве: теперь это были взрослые парни не моложе меня, а некоторые постарше.

Я вышел с книгами.

—А ну-ка, почитай нам!—открыл заседание дядя Ленька.

Я не решился сразу выступить с „нелегальщиной“. Для начала прочитал из Гоголя „Майскую ночь“ и неожиданно провалился. Гоголь определенно не понравился, а то место, где описывается кокетничанье Оксаны с зеркалом, показалось моим теткам даже неприличным: они ожидали чтения серьезного, вероятно, даже религиозного...

— Что у ж это... чего пишут? — недовольно проворчали они.

Парни отнеслись к Гоголю снисходительнее, но их занимали только смешные места, которых они и дожидались с нетерпением. Тогда я, сократив „Майскую ночь, прочел из Некрасова—„Мороз красный нос“, но эту вещь даже и не дослушали до конца: показалось скучно.

— Это мы и без книги знаем, нашу-то жизнь! послышалось со всех сторон: нет ли у тебя чего позанятнее! ну, хоть сказку какую посмешнее: у нас вон Иван Елизаров есть, так он и без книги как зачнет сказки рассказывать — животики надорвешь: одну за другую зацепляет, и конца-краю нет у него сказкам!

— Сказку вам!—рассердился я—ну, хорошо.

И я прочитал им сказку Льва Толстого „Иван-дурак“.

Сказка неожиданно для меня имела у всех слушателей большой успех и была понята.

— Э, да он совсем и не дурак! а ну-ка еще нет ли чего-нибудь такого же?

Я читал издание „Посредника“ до самого вечера, когда уже солнце стало опускаться за верхушками леса за деревней, а по зеленому лугу улицы от изб потянулись чудовищно-длинные тени. Слушатели вошли во вкус.

И тут я, наконец, хватил „Хитрую механику“.

Вещь эта, как всем известно, не имела никаких художественных достоинств, и мне самому казалась довольно приторной подделкой под „народный“ язык: я сильно опасался провала ее.

Но вышло как раз наоборот: это была „деловая“ книга, затронувшая насущные экономические, наболевшие интересы. Плевать, как там написано—лишь бы понятно, а „Хитрую механику“ не хитро было понять. Впечатление было ошеломляющее: начались расспросы, откуда я взял такую „сильную“ книгу.

— На толчке купил! объяснил я.

Ишь ты! дивились слушатели.

Во время чтения я и не заметил, что толпа, слушавшая меня, значительно увеличилась: кроме баб и парней, за моей спиной оказалось несколько кудластых черных и рыжих бород. Позади всех стоял Иван Елизаров, великан и красавец, брат красавицы Груни, в которую влюблен я был в детстве.

Это был загляденье-мужчина лет тридцати, очень большого роста, статный, с окладистой черной бородой и густой шапкой вьющими кольцами черных волос, с красивыми насмешливыми глазами и тонкими, породистыми ноздрями, похожий на оперного Бориса Годунова, известный в деревне шутник, балагур и сказочник. Когда я потом пробовал читать парням „Сказку о царе Салтане“, то они мне заявили, что уже слышали ее от Ивана, только у него интереснее, чем у Пушкина, и во многих местах по другому. Теперь я жалею, что мне так и не довелось послушать эту сказку в той форме и с теми вариантами, как ее рассказывал Иван Елизаров, никогда, конечно, не читавший и не слыхавший Пушкна. Говорили мне, что сказочник он был замечательный, вскоре этот богатырь, которому, казалось бы, до ста лет жить—умер от катарра желудка.

По поводу „Хитрой механики“ поднялся оживленный и очень для меня тогда интересный общий разговор. Книга всех заинтересовала и удивила. Молчал один Елизаров. Только, когда все уже расходились по домам в сумерках великолепного летнего вечера—Иван, уходя, иронически усмехнулся в бороду и буркнул, ни к кому не обращаясь:

— На базаре, слышь, купил! тоже!.. Нет, это не то... Это оттуда... от тех! в случае чего—за это не похвалят!

Я и сам понимал, что подобные „чтения“ нигде бы не сошли мне даром, даже в том селе, где жил мой отец, такое выступление было бы немыслимым: еще до появления на сцену урядника, сами мужики скрутили бы мне за спину руки и представили куда следует. Да и здесь поступили бы так же, будь на моем месте настоящий барин или мало известный человек: но я был свой, половина деревни была моею родней, а все остальные знали меня с пеленок, как внучонка „деда Матвея“, знали и уважали моего отца: только по этой причине слушали меня так благодушно, да и начальства в деревне не было никакого, кроме старосты да десятников, т.-е. все своих же.

Так и сошла мне моя „пропаганда“ совершенно благополучно и безнаказанно.

В следующее воскресенье меня уже ждали и просили чтения, и я читал исключительно одну „нелегальщину“.

Вскоре приехал из Петербурга студент Марк, которому, вероятно, рассказали о моих чтениях, потому

что он тотчас же пришел ко мне „познакомиться поближе“ и позвать к себе.

С Марком мы быстро стали приятелями и сошлись на „ты“. Оказалось, что Павел Тимофеевич имел порядочную библиотечку, выписывал лучший тогда толстый журнал и столичную большую газету. Я перестал ездить с Ленькой на жнитво, тем более, что жали наемные жнецы, и целые дни предавался чтению книг и журналов. В библиотечке Павла оказался „Кандид“, сочинения Ренана, а из русских авторов, Щедрин и Михайловский.

Каждый вечер, как только спадал зной, я приходил к Марку, и мы проводили время в книжных рассуждениях, в которых принимал участие и старший брат, оказавшийся довольно начитанным самоучкой.

Его отношение к нашим „идейным“ разговорам было такое:

— Всему этому я сочувствую!—сказал он однажды своим грубоватым мужицким говором:—и не только сочувствую, но и содействовать по мере моей возможности желал бы! окромя всего этого, я понимаю, что коли сочувствуешь, то и жить надо иначе, чем я живу, но я изменить мою жизнь не могу и в этом откровенно сознаюсь: не могу!.. у меня—дети!

Тогда входило в моду „толстовство“ и „опрощение“, и разбогатевший полуинтеллигентный полумужик-полукупец честно сознавался, что на „подвиг“ он не пойдет.

Марк и не осуждал его за это и только посмеивался над преданностью брата „утробе и маммоне“.

Деньги после отца были у них поделены, и Марк тратил свою часть на высшее образование, Павел же приумножил свою хлебной торговлей: впоследствии он сделался купцом и зажил в городе, а Марк потратил все на скитание по университетам, где ему долго не удавалось кончить курса вследствие нескончаемых студенческих „беспорядков“, сидения по тюрьмам и отбывания „наказаний“ в местах не столь отдаленных, хотя по натуре он и не принадлежал к разряду „горячих голов“: подобно брату, он был деловит, практичен, совсем не поэт и не мечтатель, реалист по крови, какими только мужики бывают, но—раз „ноготок увяз—всей птичке пропасть“: жизнь против воли повела его по тернистому пути „красного“ русского интеллигента.

По вечерам праздничных дней народ собирался теперь к высокому с колонками крыльцу их зажиточного дома, и читали мы оба, сменяя друг друга: я читал хорошо, а Марк еще лучше, не хуже любого актера: голосище у него, как и у брата, был зычный. Нас слушали охотно и внимательно, но оба мы чувствовали, что все, о чем мы читали и говорили мужикам, казалось им чем-то отвлеченным, посторонним и как бы их не касающимся, все это как-то скользило поверх их спящего ума, ничуть не изменяя их вековых привычных взглядов, не проникая в их души. Они как будто только созерцали нас, и все, что мы говорили, считали только нашими свойствами, для них не обязательными. Казалось им еще, что уж если мы так горячимся и, кроме нас, в городах есть еще такие же, то быть может, все мы и добьемся когда-нибудь для мужиков какого-нибудь об-

легчения, которое им кто-то „даст“, сами же они что-либо делать для этого облегчения не собирались.

Проснулись они только лет через двадцать от грома 1905 года, и тогда всплыло у них воспоминание и о наших „чтениях“.

Расставаясь в конце лета, мы с Марком условились установить „сношения“ между собой: он обещал мне присылать из Петербурга с надежными попутчиками подпольную литературу.

Не совсем удачное выполнение им этого обещания и послужило конечной причиной моего исключения из семинарии,

Ленька проводил меня до пристани на берегу Волги, откуда я и отплыл навстречу дальнейшим приключениям. Ни он, ни я не предполагали, что расстаемся надолго: только лет через десять, после многих бурь и крушений моих, мы увиделись снова, да и то не надолго.

IX

О втором и последнем годе моего пребывания в учительской семинарии рассказывать подробно не хочется.

Семинарию начали жестоко „подтягивать“. Меня в компании с моими товарищами Климом и Петром Андреевичем директор насильно поместил на квартире у околоточного надзирателя, которая находилась как раз напротив квартиры Гришки Афанасьева: околоточному было очень удобно „надзирать“ за всеми четверыми.

Тем не менее, мы всю зиму собирались у Гришки для совместного чтения лекций Чупрова по политической экономии и проходили их добросовестно, с рефератами о прочитанном.

За зиму я написал целую тетрадь новых стихотворений, в составлении которых значительно усовершенствовался; стихи были проникнуты революционным настроением. Поэтому околоточный украл их у меня из сундука и, вероятно, представил директору.

В это время вышла первая маленькая книжка стихотворений Надсона, от которой мы все с ума посходили, а я как-то незаметно запомнил всю книгу наизусть.

Нашим чтением больше уже никто не руководил: Василий Максимович кончил курс, учительского места не получил и уехал в другой город, где поступил снова учиться в фельдшерскую школу.

Кузнецов был за что-то арестован, Гусев уехал, а Филадельфов тоже исчез куда-то.

На масляницу все семинаристы хотели устроить в семинарии литературный вечер, но директор его не разрешил: тогда вечер состоялся в громадной комнате Гришки Афанасьева, что, конечно, стало известным директору.

Вскоре после вечера директор опять призвал меня к себе „для интимного разговора".

— С каким это Малиновским ты знаком?— сразу спросил он меня.

Я вытаращил глаза.

— У меня нет такого знакомого! ответил я.

— Врешь! нам все известно: признавайся, кто это такой?

— Не знаю я никого с такой фамилией!

— Ну и врешь! а с кем это ты переписываешься в Петербурге?

— Ни с кем не переписываюсь!

Долго мучил он меня бесплодным допросом, но так ничего и не добился, так как я отвечал сущую правду: я действительно не знал никогда никакого Малиновского и ни с кем не переписывался, кроме отца. Я и сам не мог догадаться в чем тут дело.

На другой день меня позвал к себе на квартиру наш класный наставник Гурий Матвеевич Вишневский и тоже начал допрашивать все о том же.

— От кого вы получаете письма из Петербурга?

— Ни от кого не получаю.

— Не правда, у нас есть улики! горячился Гурий.

— Не знаю—твердил я искренно недоумевая, какие же могут быть улики, когда я еще ни от кого в моей жизни ни разу не получал писем, кроме писем от отца!..

— У нас есть письмо! сознался Гурий.

— Какое письмо?

— Письмо на ваше имя из Петербурга, подпись не разборчива, но там упоминается ваш знакомый Малиновский... Нам нужно проверить, кто это такой, иначе вам же хуже будет!..

— Но ей-богу я не знаю никакого Малиновского!..

Эта сказка про белого бычка тянулась часа два. Может быть, и действительно для меня было бы лучше, если бы я знал этого мифического Малиновского, но,

на мое несчастие, я, если бы и захотел, ничего не мог сказать о нем моим почтенным наставникам.

— Покажите письмо! предложил я.

— Это лишнее! — сурово возразил мой воспитатель:— нам прежде всего нужно ваше признание!..

И опять началось толчение воды в ступе. О том, что письмо мог написать Марк, а это потом так и оказалось, мне тогда почему-то и в голову не пришло: в течение целой зимы не получая от него никаких известий, я совсем позабыл о нем, да, кроме того, я не ждал от него писем, которых, само собой разумелось, на семинарию посылать было нельзя: я ждал от него „попутчиков".

Так я и отбился от рук. Мое упорное „запирательство" было объяснено окончательно моею неисправимостью.

Вероятно, судьба моя была решена тогда же, но воспитатели мои имели жестокость допустить меня до экзаменов, подвергнуть опять всем умоистязаниям экзаменационной зубрежки и перевести в следующий класс.

Только летом, живя у отца и ничего не подозревая, я вдруг получил мои документы через полицию. При них было свидетельство, что я учился в такой-то семинарии с такого-то года по такой-то, с такими-то отметками и при хорошем (4) поведении.

Кроме того, на обороте свидетельства, а также и на всех остальных моих документах была сделана надпись, что я обязан возвратить казне двести с чем-то рублей полученной мной стипендии.

Было ясно, что с „хорошим" поведением меня ни в какое другое учебное заведение не примут, а если по-

ступить на службу в казенное учреждение, то будут получать с меня стипендию.

Оставалось одно: растопить этими документами самовар, что я и сделал.

Так кончилась моя попытка получить образование в учебном заведении.

Через несколько дней я получил письмо от Гришки Афанасьева с известием, что он тоже исключен, Клим и Петр Андреевич получили учительские места, а семинария наша переведена в другой город; в нашем же городе больше „этого рассадника наук“ не будет.

Гришка писал, что намерен готовиться еще в какое-нибудь учебное заведение, так как помещик на этом условии оставляет ему стипендию. Добрый товарищ предлагал мне, если я вздумаю приехать в город „искать занятий“ — остановиться пока у него.

Отец мой не скрывал своего огорчения и дурного настроения: раз даже попрекнул „сидением на отцовской шее“.

В самом деле, сидеть на его шее не приходилось, нужно было что-нибудь делать. Отец тоже советовал ехать в город „искать занятий“, да я и сам не усидел бы в деревне. Я взял у него три рубля и пешком ушел на станцию железной дороги.

Началась для меня новая полоса жизни, самая тяжкая из всего, пережитого мной: мечты „о литературе“ были надолго задавлены отцовской семьей, которую вскоре пришлось мне взять на свои плечи.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ—МОСКВА.

Художественная литература.

Антокольский, Н. Стихотворения. Стр. 42.
Брюсов, В. Кругозор. Избранные стихи (1893—1922 г.г.). Стр. 331.
Верхарн, Э. Поэмы (1883—1916). Перев. В. Брюсова. Изд. 4-е. Стр. 126.
Его-же. Полное собрание поэм, т. II. Вечера. Разгромы. Черные факелы. Перев. Г. Шенгели. Стр. 78.
Его-же. Полное собрание поэм, т. III. Призраки деревни. Перев. Г. Шенгели. Стр. 128.
Его-же. Полное собрание поэм, т. V. Галлюцинирующие селения. Города-спруты. Перев. Г. Шенгели. Стр. 128.
Его-же. Полное собрание поэм, т. VI. Многообразное сияние. Перев. Г. Шенгели. Стр. 65.
Его-же. Черные факелы. Перев. В. Федорова. Стр. 41.
Его-же. Стихи. Перев. В. Федорова. Стр. 128.
Волчанецкая, Е. Серебряный лебедь. Стихи. Стр. 75.
Городецкий, С. Миролом. 13-я книга стихов. Стр. 93.
Домонтович, А. Женщина на переломе. Психологич. этюды. Стр. 96.
Дорогойченко, А. Товарищ Варвара. Рассказы. Стр. 49.
Есенин, С. Избранное. Стихи. Стр. 113.
Зайцев, П. Ночное солнце. Стихи. Стр. 88.
Зденко-фон-Крафт, А. И. Баррикады. Роман. Перев. и редак. А. Н. Горлина. Стр. 271.
Иванов, Всев. Сопки. Партизанские повести. Стр. 388.
Келлерман, М. Море. Роман. Стр. 228.
Кречетов-Волжский, А. Подпрапорщик Конгоров. Роман. Стр. 60.
Лацко, А. До последнего человека. Повесть. Вступ. статья С. Цвейга. Стр. 94.
Лондон, Д. Белый клык. Роман. Стр. 231.
Его-же. Приключения рыбачьего патруля. Бог его отцов. Стр. 246.
Его-же. Как я стал социалистом. Рассказы. Стр. 84.
Его-же. Морской волк. Роман. Стр. 321.
Его-же. Мои скитания. Повесть. Стр. 180.
Луначарский, А. Канцлер и слесарь. Пьеса. Стр. 86.
Его-же. Освобожденный Дон-Кихот. Пьеса. Иллюстр. Пискарева. Стр. 147.
Его-же. Фома Кампанелла. Героич. Драма. Стр. 132.
Ляшко, Н. На реке. Рассказы. Стр. 54.
Мартинэ, М. Ночь. Драма. Перев. С. Городецкого. Предисл. Л. Троцкого. Рис. Г. Пастрэ. Стр. 120.
Нексэ, М. Пассажиры пустых мест. Рассказы. Перев. А. Н. Горлина. Стр. 113.
Его-же. Счастье. Роман. Перев. А. Н. Горлина. Стр. 60.

Орлов-Скоморовский, Ф. Из цикла „К человечеству". Кн. II. Ложь Отцов. Роман. Стр. 113.

Его-же. Из цикла „К человечеству". Кн. III. Любовь платоническая. Роман. Стр. 84.

Остроумов, Л. Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке. Трагедия. Стр. 96.

Роллан, Р. Лилюли. Лирическая драма. Перев. В. Брюсова. С рис. в тексте. Стр. 214.

Синклер, У. Сильвия. Роман. Стр. 273.

Его-же. Сто процентов (история одного патриота). Перев. Д. Гаусмана. Стр. 315.

Его-же. Машина. Драма. Перев. О. Мандельштама. Стр. 84.

Социалистический народный театр. Вып. I. Прецанг, Э. 1) Дочери труда. 2) Его юбилей. Пьесы. Перев. и ред. А. Н. Горлина. Стр. 115.

Социалистический народный театр. Вып. II. Прецанг. Э. Чорт в избирательной урне. Рюбецаль, К. Приключения асессора Шнейдига. Пьесы. Перев. и ред. А. Н. Горлина. Стр. 88.

Социалистический народный театр. Вып. III Рюбецаль, К. В борьбе за существование. Краузе, В. Снова в ряды борцов. Перев. и ред. А. Н. Горлина. Стр. 67.

Степняк-Кравчинский, С. М. Андрей Кожухов. Роман. Редак. и предисл. П. А. Кропоткина. Стр. 248.

Толстой, А. Н. Приворот. Стр. 86.

Его-же. Лунная сырость. Повести двадцать первого года. Стр. 77.

Шенгели, Г. Раковина. Стихи. Стр. 114.

Шмелев, И. Человек из ресторана. Стр. 152.

Юнг, Ф. Красная неделя. Перев. А. М. Горфинкеля. Под ред. А. Н. Горлина. Стр. 44.

ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА:

МОСКВА, Ильинка, Биржевая площад, Богоявленский пер., 4.

Телефоны: 1-57-57; 47-35.

ПЕТРОГРАД, Проспект 25-го октября (Невский), 28.

Магазины в Москве:

1) Советская площадь (под гост. «Дрезден»).
2) Моховая, 17 (под гост. «Националь»).
3) Больш. Никитская, 13 (здание консерватории).
4) Никольская ул., 3.
5) Серпуховская площ., 1/43.
6) Кузнецкий мост, 12.

Магазины в Петрограде:

1) Проспект 25-го октября (Невский), 28.
2) Проспект Володарского (Литейный), 21.
3) Проспект 25-го октября, 13.
4) Проспект 25-го октября, 68.

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00034978579